



# Вальтер Скотт

Роб Рой



Перевод с английского  
Надежды Вольпин

ФТМ

Вальтер Скотт  
**Роб Рой**

«ФТМ»

1817

## **Скотт В.**

Роб Рой / В. Скотт — «ФТМ», 1817

«Больше душ убито серебряной монетой, чем тел обнажённым мечом», – произносит главный герой одноимённого приключенческого романа известного шотландского писателя, поэта, историка и основоположника жанра исторического романа Вальтера Скотта (1771–1832). Роман Вальтера Скотта «Роб Рой» о национальном герое Шотландии и «благородном разбойнике» с самой первой публикации в 1817 году стал одним из любимых приключенческих романов и вошёл в классику мировой литературы. Роман «Роб Рой» рекомендован Министерством образования РФ для внеклассного чтения.

© Скотт В., 1817

© ФТМ, 1817

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Введение                          | 5  |
| Глава I                           | 38 |
| Глава II                          | 44 |
| Глава III                         | 52 |
| Глава IV                          | 56 |
| Глава V                           | 62 |
| Глава VI                          | 68 |
| Глава VII                         | 76 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 77 |

# Вальтер Скотт

## Роб Рой

*А почему? Закон простой  
Они хранят с былых времен:  
Пусть тот берет, кто всех сильнее,  
И пусть владеет он.*

*Вордсворт, «Могила Роб Роя»*

## Введение

Когда автор задумал это новое посягательство на терпение снисходительной публики, его несколько смутил вопрос о заглавии: в литературе хорошее имя так же важно, как и в жизни. Заглавие «Роб Рой» предложено было покойным мистером Констеблом, чья проницательность и опытность позволили ему предугадать, что книга завоюет признание читателя.

Самое лучшее введение, какое можно предпослать настоящей повести, – это очерк жизни того замечательного человека, чье имя значится на заглавном листе и чья слава, добрая или дурная, заняла в народной памяти удивительно прочное место.

Этого нельзя приписать его знатности, потому что он хоть и был дворянином, но не высокого рода, и рождение само по себе еще не давало ему прав на главенство в клане. И подвиги его, хоть и был он предприимчив и жил беспокойной и деятельною жизнью, не могли равняться с подвигами других разбойников, не стяжавших большой известности. Своей славой он был в значительной мере обязан тому обстоятельству, что проживал у самой границы Горной Страны и в начале восемнадцатого столетия разыгрывал такие штуки, какие приписывают обычно Робин Гуду в средние века, – и это в сорока милях от Глазго, большого торгового города с почтенным университетом! Человек этот, дикой доблестью, тонкой хитростью и необузданным своеволием своим затмевавший американского индейца, жил и процветал на шотландской земле в золотой век королевы Анны и Георга I. Аддисон или Поп, по всей вероятности, сильно удивились бы, узнав, что на одном острове с ними живет личность, подобная Роб Рою, – столь странного нрава и занятий. Эта резкая противоположность между утонченной, цивилизованной жизнью по одну сторону границы Горной Страны и незаконными, дикими похождениями, какие спокойно замышлял и совершал человек, проживавший по другую сторону этого воображаемого рубежа, создавала живой интерес вокруг его имени. Потому-то даже и сейчас

Вдали, вблизи, в лугах, в горах  
Сердца полны мечтой одной,  
И загораются глаза  
При имени Роб Рой.<sup>1</sup>

У Роб Роя был ряд преимуществ, позволивших ему обратить в преимущество и ту роль, которую он для себя избрал.

---

<sup>1</sup> Перевод Б. Томашевского.



Среди них самым замечательным было его происхождение из клана Мак-Грегоров и прочная связь с этим кланом, знаменитым своими несчастьями и неукротимостью духа, заставлявшей его отстаивать себя как единый клан, целостный и сплоченный, наперекор самым суровым законам, применявшимся с неслыханной жестокостью против всякого, кто носил это запретное имя. История Мак-Грегоров повторяет историю многих коренных кланов Северной Шотландии, которые были подавлены более сильными соседями и либо истреблены, либо вынуждены ради права на жизнь отказаться от своего родового имени и принять имя своих победителей. В повести о Мак-Грегорах характерно то упорство, с каким они в самых крайних обстоятельствах сохраняли свою самостоятельность и клановое единство. История племени сводится в основном к нижеследующему (впрочем, мы должны оговориться, что наш рассказ основан во многом на предании, а потому, за исключением тех случаев, когда мы ссылаемся на письменные документы, его нельзя признать вполне достоверным).

Мак-Грегоры притязают на происхождение от Грегора, или Григория, который был будто бы третьим сыном Алпайна, короля скоттов, царствовавшего около 787 года. Поэтому их первоначальное родовое имя было Мак-Алпайны, и обычно клан их именуется кланом Алпайн. Один из их родов по сей день сохраняет это имя. Он числится среди древнейших кланов Верхней Шотландии, и не подлежит сомнению, что племя это – кельтского происхождения и одно время владело обширными землями в Пертшире и Аргайлшире, которые оно неразумно продолжало удерживать в силу *coig a glaive*, то есть по праву меча. Между тем его соседи, графы Аргайлы и Бредалбейны, ухитрились включить занятые Мак-Грегорами земли в те дарственные грамоты, которые они легко получали от короля, и таким образом создали для себя юридическое право владения, не слишком сообразуясь с его справедливостью. Каждый раз, как представлялся случай потеснить или истребить соседей, они кое-что прирезали к своим владениям, присваивая под видом королевского дара земли менее цивилизованного соседа. В ограблении клана Мак-Грегоров, говорят, особенно преуспевал некий сэр Дункан Кэмбел из Лохоу, известный в Шотландских горах под именем Донаха Дунах Хуррейда, то есть Черного Дункана Капюшона, ибо ему угодно было щеголять таким головным убором.

Обреченный клан, постоянно несправедливо сгоняемый со своих земель, отстаивал свои права силой и не раз добивался победы, которой пользовался довольно жестоко. Такое поведение, хоть и естественное для той страны и того времени, нарочито изображалось в столице как следствие неукротимой и врожденной жестокости, против которой якобы не было другого средства, как только обрубить корни и ветви племени Мак-Грегоров.

Акт Тайного совета, изданный в Стерлинге 22 сентября 1563 года, в царствование королевы Марии, дает право самым могущественным лордам и предводителям кланов преследовать клан Мак-Грегоров огнем и мечом. Подобный приказ от 1563 года не только предоставляет те же полномочия сэру Джону Кэмбелу из Гленорхи, потомку Дункана Капюшона, но запрещает верноподданным принимать под свой кров кого бы то ни было из клана Грегоров, помогать им или давать под каким бы то ни было предлогом еду, питье или одежду.

Жестокое деяние клана Грегор, совершенное им в 1589 году, – убийство Джона Драммонда из Драммондерноха, лесничего королевских лесов в Гленартни, – приводится везде и всюду со всеми страшными подробностями. Голову убитого отрубили, и клан поклялся над нею нести круговую поруку за преступление. Это вызвало новый акт Тайного совета, с призывом к новому крестовому походу против «дурного клана Грегор, издавна погрязшего в крови, убийствах, воровстве и грабеже»: этим актом выдавались патенты на преследование клана огнем и мечом сроком на три года. Освещение этого частного факта читатель найдет во введении к «Легенде о Монтрозе».

Немало было и других случаев, когда Мак-Грегоры выказывали презрение к закону, который часто жестоко преследовал их и никогда не брал под защиту. Пусть они постепенно лишились своих владений и всех обычных средств добывать себе пропитание, но все же нельзя было ожидать, что они спокойно умрут с голода, пока у них оставалось последнее средство – отбирать у пришельцев то, что они по праву почитали своим. Так изошрились они в хищных набегах и свыклись с кровопролитием. Их страсти легко воспламенялись, и при некотором давлении со стороны могущественных соседей нетрудно было, по красочному шотландскому выражению, «натравить» их на любое беззаконие, из которого хитрые подстрекатели извлекали выгоду, а вся вина и кара оставалась на долю невежественных Мак-Грегоров. Эту политику подстрекательства диких горных и пограничных кланов к нарушению мира в стране историки считают опаснейшим знаменем своего времени и видят в Мак-Грегорах ее послушное орудие.

Несмотря на суровые преследования, осуществлявшиеся точно так, как они были замыслены, кое-кто из Мак-Грегоров еще удерживал владения, и в 1592 году клан числит своим вождем Алластера Мак-Грегора из Гленстрэ. Говорят, он был смел и предприимчив, но, судя по его предсмертной исповеди, кажется, заводил частые и отчаянные ссоры; одна из них в конечном счете оказалась роковой для него и для многих его приверженцев. То была знаменитая битва при Гленфруне, у юго-западного берега Лох-Ломонда, в окрестностях которого Мак-Грегоры еще удерживали власть по *coig a glaive*, то есть по праву сильнейшего, как упоминалось выше.

Мак-Грегоры вели долгую кровную вражду с лэрдом Луссом, главою Колкухунов, могущественного рода, обитавшего у нижнего края Лох-Ломонда. Согласно рассказу Мак-Грегоров, ссора началась с пустяка. Два человека из клана Мак-Грегоров, застигнутые ночью в пути, попросили пристанища в доме, принадлежавшем вассалу Колкухунов, и получили отказ. Тогда они прошли во двор, захватили на овчарне легченого барана, зарезали его и зажарили себе на ужин, предложив будто бы плату его владельцу. Лэрд Лусс схватил обидчиков, совершил над ними быстрый суд на правах феодального владельца, вынес им приговор и обоих казнил. Объясняя так причину вражды, Мак-Грегоры ссылаются на свою ходовую поговорку, проклиная день и час, когда овца объяснилась черным бараном с белым хвостом (*Mult dhu an Carbail ghil*). Мстя за эту обиду, лэрд Мак-Грегор собрал свой клан (человек триста – четыреста) и двинулся на Лусс с берегов Лох-Лонга через так называемый Рейд-на-Гэл, то есть Ущелье Горца.

Сэр Хамфри Колкухун заблаговременно узнал о нашествии и собрал большие силы, численностью более чем вдвое превосходившие противника. С ним были джентльмены из рода Бьюкэнан, Грэмы, некоторые другие дворяне из Леннокса и отряд горожан из Дамбартона с Тобиасом Смоллетом во главе, городским советником, или бейли, – предком знаменитого писателя.

Стороны встретились в Гленфруне, что означает Ложбина Печали, – название, предвосхищавшее, казалось, события этого дня, рокового для побежденных, но не менее скорбного и для победителей, ибо «нерожденные младенцы» клана Алпайн имели все причины пожалеть о нем. Мак-Грегоры оробели при виде превосходных сил неприятеля, но в них вдохнул бодрость их кудесник, или ясновидец, изрекши, что вместо противников он видит закутанных в саван мертвецов. Клан яростно обрушился в лоб на врага, в то время как Джон Мак-Грегор с сильным отрядом предпринял внезапную атаку с фланга. Войско Колкухунов состояло в своем большинстве из конницы, которая не могла развернуться в болотистой местности. Говорят, что они мужественно оспаривали поле, но в конце концов были наголову разбиты, и тогда началось нещадное избиение обращенного в бегство неприятеля, который потерял на поле сражения и при этом преследовании две или три сотни человек. Если верно предание, что Мак-Грегоры в этом бою потеряли убитыми только двух бойцов,

то у них не было серьезного повода к слепой резне. Их ярость, говорят, распространилась на толпу студентов-богословов, неосторожно явившихся посмотреть на битву. Этот факт сомнителен, так как судебный приговор против вождя клана Мак-Грегоров умалчивает о нем, равно как и историк Джонстон и профессор Росс, описавший битву двадцать девять лет спустя. Однако местное предание неизменно утверждает свое, и скала, на которой совершилось это дело, зовется Лек-а-Министейр, то есть Могильный Камень Священников. Мак-Грегоры приписывают это злое дело жестокости одного человека из их племени, славившегося своим ростом и силой, некоего Дугалда, по прозвищу Киар-Мор, то есть Великан Мышиной Мласти. Он был молочный брат Мак-Грегора, и вождь отдал юношей под его надзор, с наказом не отпускать их, пока не кончится битва. Из опасения ли, что они убегут, задетый ли их насмешками над его племенем или просто в жажде крови, этот дикарь, когда остальные Мак-Грегоры пустились преследовать неприятеля, заколол своих беспомощных и безоружных пленников. Когда предводитель, вернувшись, спросил, где юноши, Киар-Мор поднял свой окровавленный кинжал и сказал по-гэльски: «Спроси его – и да хранит меня Бог!» В этих последних словах заключен намек на призывы его жертв к Божьей мести в час убийства. Поэтому похоже, что в этой своей страшной части предание основано на действительном происшествии, хотя число убитых юношей южношотландская версия, вероятно, преувеличила. В народе говорится, что кровь жертв Киар-Мора вовек не может быть смыта с камня. Когда Мак-Грегор узнал об их судьбе, он отозвался об этом с крайним отвращением и укорял своего молочного брата, что он совершил такой поступок, который навлечет гибель на него и на его клан. Этот убийца был предком Роб Роя, и к нему восходит та ветвь Мак-Грегоров, от которой он происходил. Киар-Мор похоронен в Фортингале, где по сей день показывают на погосте его гробницу, покрытую тяжелой плитой, и где ходит немало легенд о его великой силе и отваге.

В числе немногих убитых был брат Мак-Грегора. Он похоронен близ поля битвы, и место погребения отмечено нетесаным камнем, именуемым Серый Камень Мак-Грегора.

Сэр Хамфри Колкухун на добром своем коне ушел от погони и укрылся временно в замке Банохар, или Бенехра. Убежище, однако, оказалось ненадежным, и вскоре он был убит под сводами замка, как говорит семейная летопись – Мак-Грегорами, хотя другие версии обвиняют в этом убийстве Мак-Фарленов.

Битва при Гленфруне и жестокость, проявленная победителями в преследовании, были представлены королю Иакову VI в крайне неблагоприятном для Мак-Грегоров свете, а их слава отважных, но не признающих закона удалцов не могла в этом случае принести им пользу. Чтобы Иаков мог ясно представить себе размеры резни, в Стерлинг явилось более двухсот жен убитых, в глубоком трауре, верхом на белых конях, каждая неся на копье окровавленную рубашку мужа, и предстали так пред королем, необыкновенно чувствительным к подобным зрелищам ужаса и скорби, требуя отмщения за смерть своих мужей убийцам, повергшим их в безутешное горе.

Наказание было по меньшей мере столь же сурово, как те жестокости, которые оно должно было покарать. Актом Тайного совета от 3 апреля 1603 года имя Мак-Грегоров объявлено было уничтоженным и тем, кто до сих пор его носил, повелевалось изменить его на другие имена под угрозой смертной казни каждому, кто впредь станет называть себя по имени отцов Мак-Грегором. Под страхом той же казни всем, кто участвовал в битве при Гленфруне или был причастен к другим разбойным делам, перечисленным в акте, запрещалось носить какое бы то ни было оружие, кроме ножа для разрезания пищи. Следующий акт Тайного совета от 24 июня 1613 года обрекал смертной казни всех лиц из племени, называвшегося ранее Мак-Грегорами, если они вздумают собраться вместе в числе свыше четырех человек. Парламентский акт от 1617 года в главе 26-й снова подтвердил эти законы, распространив их и на подрастающее поколение, так как, по имевшимся сведениям, дети тех, про-



тив кого направлены были акты Тайного совета, уже в большинстве своем достигли совершеннолетия, и, если бы им разрешили принять имя их отцов, клан снова стал бы столь же сильным, как и раньше.

Исполнение этих суровых эдиктов возложили в западных областях на графа Аргайла и могущественный клан Кэмбелов, а на востоке, в горных областях Пертшира, – на графа Этола и его приверженцев. Мак-Грегори оказывали сопротивление с неустрашимой отвагой, – и многие долины на западе и севере Горной Страны хранят память о жестоких битвах, в которых воины гонимого клана нередко одерживали временную победу и всегда дорого продавали свою жизнь. Наконец гордость Алластера Мак-Грегора, главы клана, была сломлена страданиями его народа, и он решил сдаться графу Аргайлу со своими ближайшими приверженцами на том условии, что они будут высланы из Шотландии. Если верить отчету несчастного вождя, он мог с полным основанием рассчитывать на благосклонность графа, чье поощрение и тайные указания навели его на многие из тех отчаянных дел, за которые его призвали теперь к суровому ответу. Но Аргайл, как выразился старый Биррел, сдержал свое обещание на кельтский лад, «исполнив его для уха, но нарушив для разумения»: Мак-Грегора под сильной охраной доставили к английской границе, и, поскольку он тем самым был в буквальном смысле слова выслан из Шотландии, считалось, что Аргайл не нарушил договора, когда тот же отряд, который проводил туда пленника, отвел его затем назад, в Эдинбургскую тюрьму.

20 января 1604 года Мак-Грегор из Гленстрэ предстал перед судом и был признан виновным. По-видимому, его прямо из зала суда отправили на виселицу, так как Биррел, относя это событие к той же дате, сообщает, что Мак-Грегор был казнен у городских ворот и, отличия ради, повешен выше, чем двое его сподвижников и родичей. 18 февраля следующего года несколько человек из рода Мак-Грегоров были казнены после длительного тюремного заключения, а в начале марта – еще несколько.

В главе 16-й постановления от 1607 года парламент выражает благодарность графу Аргайлу, «который привел в покорность дерзкое и злое племя Мак-Грегоров, неисправимых правонарушителей, и отдал под суд Мак-Грегора со многими главарями клана, заслуженно казненными за их злодеяния», и жалуется его двадцатью чолдерами зерна с земель клана Кинтайр.

Мак-Грегори, невзирая на приказы о предании их огню и мечу, на все карательные экспедиции, высылаемые против них шотландскими властями, которые, казалось, утратили самообладание и чувство собственного достоинства и приходили в исступление при одном имени гонимого клана, – невзирая на все это, Мак-Грегори не примирились с тем, что их вычеркивают из списка шотландских кланов. Правда, они подчинились закону и приняли имена соседних родов, среди которых им случилось проживать, превратившись номинально в Драммондов, Кэмбелов, Грэмов, Бьюкэнанов, Стюартов и т. д., как кому оказалось удобней; но по всему поведению, по взаимной приверженности и во всех своих замыслах они оставались кланом Грегор, сплоченным воедино на любое дело, доброе и злое, и грозившим мстить всем племенем каждому, кто затронет кого-либо из них.

Они по-прежнему терпели гонения и, нимало не колеблясь, наносили обиды, как и до попытки разъединить их в законодательном порядке – что явствует из главы 30-й вступления к статуту от 1633 года, где отмечается, что клан Грегор, подавленный и умиротворенный великими заботами покойного короля Иакова, снова поднял голову в графствах Перт, Стерлинг, Кларкманн, Монтит, Леннокс, Ангюс и Мернс; а посему статут снова вводит в силу постановления о лишении клана прав и требует строгого соблюдения ранее изданных законов против злого и мятежного племени.

Как ни суровы были меры, принятые Иаковом I и Карлом I против несчастных людей, которых доводили до бешенства гонениями, а потом карали за то, что они уступали страстям,

нарочито в них разжигаемым, Мак-Грегоры во время гражданской войны все как один стали под знамена изгнанного короля. Их барды объясняли это прирожденным уважением Мак-Грегоров к шотландской короне, которую носили некогда их предки, в доказательство ссылались на их герб, изображавший сосну, скрещенную в виде буквы Х с обнаженным мечом, острие которого поддерживает королевскую корону. Не отрицая, что подобные соображения могли иметь некоторое значение, мы все же склоняемся к мысли, что война на стороне якобитов, открывавшая богатую равнину набегам горных кланов, была для Мак-Грегоров соблазнительней, чем все заигрывания ковенантеров, потому что, став на их сторону, клану пришлось бы иметь дело с горцами, такими же дикими, как они сами, и которым, так же как им, нечего было терять. Их возглавил Патрик Мак-Грегор, сын выдающегося вождя Дункана Аббараха, к которому Монтроз обращается в письмах как к своему поверенному и другу, говоря, что всецело полагается на преданность его и верность, и обещая, что со временем, когда дело его величества станет на твердую почву, клан Мак-Грегоров получит возмещение за все обиды.

Далее в ходе тех горестных времен мы видим, что клан Мак-Грегоров требует восстановления своей самостоятельности, когда шотландский парламент призвал его в 1651 году отразить – бок о бок с другими кланами – наступление республиканской армии. 31 марта указанного года Калум Мак-Кондахи Вих Юэн и Юэн Мак-Кондахи Юэн, от своего лица и от лица всех носителей имени Мак-Грегор, подают прошение королю и парламенту, отмечая в нем, что когда они, просители, повинувшись приказу парламента, вменившему в обязанность всем кланам явиться на службу под командой своих вождей для защиты веры, короля и обоих королевств, стали стягивать свои силы на охрану горных проходов у истоков реки Форт, граф Этол и лэрд Бьюкэнан им в этом помешали, вытребовав в свои ряды многих воинов из клана Грегор. Это не могло бы случиться, если бы не было изменено имя Мак-Грегор, что дало основание графу Этолу и лэрду Бьюкэнану вербовать Мак-Грегоров под свои знамена, как носителей имен Мерри и Бьюкэнан. Ходатайство Мак-Грегоров о разрешении выступить самостоятельным отрядом, как выступали другие кланы, по-видимому, осталось без ответа. Но после Реставрации король Карл через первый шотландский парламент своего царствования (статут 164, глава 195) отменил ряд постановлений против клана Грегоров и вернул им право открыто носить свое родовое имя и пользоваться другими привилегиями верноподданных короля. Причиной такой снисходительности выдвигалось то обстоятельство, что те, кто некогда именовался Мак-Грегорами, проявили во время последней смуты такую преданность его величеству, что она по справедливости смывает память об их прежних провинностях и снимает с них всякую вину за прошлое.

Как ни странно, пресвитериане-нонконформисты, по-видимому, возмутились, когда несправедливые гонения, которым так недавно подвергали их самих, были ослаблены в отношении несчастных Мак-Грегоров: видно, не только худшие, но и лучшие из людей не способны судить беспристрастно об одних и тех же мерах в применении к себе и к другим. После Реставрации враждебное несчастному клану влияние<sup>2</sup> привело к восстановлению карательных законов против Мак-Грегоров. Причины, по которым вновь вводились в силу эти суровые законы, неизвестны, и нет никаких указаний на то, что клан в чем-либо провинился снова. Есть все основания думать, что статья закона, касавшаяся Мак-Грегоров, была нарочно составлена в такой форме, чтобы пройти незамеченной: хотя в ней заключались постановления, жестоко ущемлявшие права столь многих шотландских подданных, она не упомянута ни в общем заглавии, ни в подразделах того парламентского акта, в который введена, и дана в виде короткого добавления к главе 61-й статута 1693 года – в так называемом «Акте о судопроизводстве в Верхней Шотландии».

<sup>2</sup> Возможно, то же, которым впоследствии была вызвана резня в Гленко.

Однако после революции акты против клана соблюдались, по-видимому, не строго, а во второй половине восемнадцатого столетия и вовсе перестали соблюдаться. Члены палаты общин в парламенте именовались запретным именем Мак-Грегор, и многочисленные постановления суда и административные приказы подписывались этим именем. Однако, поскольку законы по-прежнему значились в книге статутах, Мак-Грегоры все еще страдали от запрета, наложенного на их исконное родовое имя, и делали попытки усвоить себе другое: предлагалось, чтобы в будущем весь клан именовался Мак-Алпайн или Грант. Однако соглашения достигнуть не удавалось; со злом мирились по необходимости, пока не было получено полное восстановление в правах: особый акт британского парламента раз навсегда отменил карательные законы, так долго тяготевшие над древним родом. Этот статут, вполне справедливый, так как многие джентльмены из клана Мак-Грегоров честно потрудились на пользу короля и родины, был наконец утвержден, и, опираясь на него, Мак-Грегоры повели свои действия в том же духе старины, которому они всегда оставались верны, жестоко страдая от стеснения в древних своих правах, когда большинство их соотечественников уже не придавало этим правам существенного значения.

Для начала они признали Джона Мерри из Ланрика, эсквайра (впоследствии сэра Джона Мак-Грегора, баронета), представителя семьи Гленкарнох, прямым потомком древнего племени и крови лэрдов и лордов Мак-Грегор, и посему избрали его своим вождем во всех делах общественного порядка. Акт был скреплен подписью восьмисот двадцати шести мужчин из рода Мак-Грегор, способных носить оружие. Во время последней войны большое число представителей клана объединилось в так называемый полк клана Алпайн, сформированный в 1799 году и возглавленный их вождем и его братом, полковником Мак-Грегором.

Дав краткую историю клана, являющую редкий и любопытный пример живучести патриархального строя, автор должен теперь сообщить некоторые сведения о человеке, по имени которого назвал он эту повесть.

Когда знакомишься с шотландским горцем, надо прежде всего рассмотреть его родословную. Роб Рой вел свой род от Киар-Мора, Великана Мышиной Масти, обвиненного преданием в убийстве юных студентов во время битвы при Гленфруне.

Чтобы не утруждать ни себя, ни читателя, мы не станем вдаваться в путаную генеалогию горцев; довольно будет сказать, что после смерти Алластера Мак-Грегора из Гленстрэ клан, преследуемый неослабной ненавистью врагов, как видно, пал духом и не считал возможным стать под начальство одного вождя. В соответствии с местожительством и происхождением группы семейств объединились под властью предводителя, как называют горцы главу отдельной ветви того или иного рода, в отличие от вождя, который возглавляет весь род в целом.

Семья и потомки Дугалда Киар-Мора жили по большей части в горах, между озерами Лох-Ломонд и Лох-Кэтрин, занимая там обширные земли, по праву ли меча, которое всегда небезопасно было у них оспаривать, с молчаливого согласия окружающих, или же на каких-либо законных основаниях — бесполезно спрашивать и нет нужды разбирать. Нам достаточно знать: там они жили, эти люди, и даже самые сильные соседи избегали с ними ссориться, потому что в мирное время дружба с ними была необходима для спокойствия всей округи, а в случае войны они оказывали помощь быструю и действенную.

Роб Рой Мак-Грегор Кэмбел (парламентские акты, запретившие его истинное имя, заставили его называться Кэмбелом) был младшим сыном Доналда Мак-Грегора из Гленгайла, полковника (вероятно, на службе у Иакова II); по матери же он был внуком Кэмбела из Гленфаллоха. К имени самого Роба добавлялось «из Инверснейда»; но он, кажется, имел какие-то права, приобретенные или наследственные, на поместье Крейг-Ройстон — леса и скалы на восточном берегу Лох-Ломонда, где это красивое озеро врезается в окутанные туманом Гленфаллохские горы.

Время рождения Роб Роя точно не установлено. Но говорят, он принимал участие в военных столкновениях и разбоях, последовавших за революцией; и предание утверждает, что он был вожаком при грабительском набеге на приход Киппен в Ленноксе, имевшем место в 1691 году. Дело прошло почти без кровопролития – был убит только один человек, но небывалые размеры грабежа надолго утвердили за ним название киппенского разгрома или разорения.<sup>3</sup> Время смерти Роб Роя тоже неизвестно; но так как он, говорят, пережил 1733 год и умер в преклонном возрасте, можно предположить, что при разгроме Киппена ему было лет двадцать пять, и тогда его рождение надо отнести к середине семнадцатого столетия.

В более спокойные времена, наступившие вслед за революцией, Роб Рой, или Красный Роберт, по-видимому, направил свою энергию и незаурядные дарования на промысел крупного гуртовщика, или торговца скотом. Надо думать, что в те дни ни один южношотландский гуртовщик, уже не говоря об английских, не рискнул бы вступить в пределы Горной Страны. Скот, главный предмет торговли в горных местностях, пригоняли на ярмарки в пограничной полосе Нижней Шотландии отряды бряцавших оружием горцев, которые, однако, обходились с покупателями-южанами честно и добросовестно. Правда, возникали иной раз ссоры, когда жители равнины, по преимуществу пограничной ее полосы, поставлявшие товары на английский рынок, окунали свои шапки в ближайший ручей и, натянув их на кулак, шли с дубинкой против обнаженного палаша, и тот далеко не всегда одерживал верх. Мне доводилось слышать от стариков, смолodu участвовавших в подобных схватках, что горцы вели себя в них с отменной честностью, никогда не пуская в ход острие клинка, ни тем более пистолет или кинжал.

И гром и звон кругом стоят,  
Скрестился с палицей булат.

Два-три ушиба или проломленный череп – такое дело легко улаживалось, и, поскольку торговля была выгодна для обеих сторон, мелким стычкам не давали нарушать ее мирное течение. Для горцев она представляла жизненный интерес, так как весь доход, какой они могли получить со своих земель, сводился к выручке от продажи скота, а толковый и опытный купец не только сам наживался на своих торговых операциях, но и давал кое-чем попользоваться своим друзьям и соседям. Дела Роб Роя в течение ряда лет шли так успешно, что он завоевал всеобщее доверие и пользовался известным почетом в стране, где жил.

Положение его еще более укрепилось после смерти отца, когда он получил в наследство опеку над имуществом своего племянника, Грегора Мак-Грегора из Гленгайла, а вместе с нею, как его наставник, и то влияние, каким должен был пользоваться в клане и его окружении представитель Дугалда Киара. Влияние было тем более полным, что эта ветвь рода Мак-Грегоров, по-видимому, отказалась от подчинения Мак-Грегору из Гленкарноха, предку нынешнего сэра Эвана Мак-Грегора, и утвердилась в известной самостоятельности.

К этому же времени Роб Рой приобрел права – через куплю, заклад или иным путем – на упомянутое нами поместье Крейг-Ройстон. В эту пору преуспеваания он пользовался необычайной благосклонностью своего ближайшего и могущественного соседа Джеймса Монтроза, первого герцога этого имени, и тот не раз оказывал ему знаки внимания. Герцог соизволил передать в собственность его племяннику и ему самому поместья Гленгайл и Инверснейд, которыми они пользовались раньше только на правах льготной аренды. Кроме того, в интересах всего края и ради процветания собственных своих земель герцог поддерживал нашего авантюриста крупными денежными займами, дававшими ему возможность продолжать торговлю скотом.

<sup>3</sup> Смотри «Статистические данные о Шотландии», т. XVIII, стр. 332. Приход Киппен. (Прим. автора.)

К несчастью, этот вид торговли был тогда, как и в наши дни, подвержен резким колебаниям, и Роб Рой вследствие внезапного падения цен на скот и, как добавляет дружественное предание, из-за вероломства компаньона, некоего Мак-Доналда, которому он неосмотрительно доверил значительную сумму денег, оказался несостоятельным должником. Компаньон скрылся не с пустыми, конечно, руками – во всяком случае, в указе о его аресте говорилось, что он имел при себе до тысячи фунтов стерлингов, полученных от некоторых дворян и владетельных особ на закупку для них скота в Горной Стране. Объявление это появилось в июне 1712 года и не раз повторялось. Оно устанавливает время, когда Роб Рой сменил торговые сделки на операции совсем иного рода.

По-видимому, в эту пору он впервые перебрался из своего обычного жилища в Инверснейде за десять – двенадцать шотландских миль (английских, считай, вдвое) дальше в горы и стал вести тот незаконный образ жизни, которому и следовал с тех пор. Герцог Монтроз, почтя себя обманутым и оскорбленным поведением Мак-Грегора, прибегнул к законным способам взыскания одолженных ему денег. Земельные владения Роб Роя были отняты у него обычным судебным порядком, а его стада и домашнее имущество проданы с молотка.

Говорят, что это вмешательство закона, как его именуют в Шотландии, а в Англии более грубо называют арестом имущества, было применено в этом случае с необычайной суровостью и судебные исполнители, и обычно-то люди далеко не мягкие, так надругались над женой Мак-Грегора, что это и более кроткому человеку внушило бы мысль о беспощадной мести. Елена Мак-Грегор была женщина гордого и неукротимого нрава, и очень возможно, что она вмешалась в действия должностных лиц, вследствие чего и подверглась грубому обращению, хотя гуманности ради хочется надеяться, что народное предание передает эту историю в преувеличенной версии. Достоверно одно: женщине было тяжело изгнание с берегов Лох-Ломонда, и она излила свои чувства в прекрасной музыке для волынки, известной и теперь среди любителей под названием «Жалоба Роб Роя».

Думают, что беглец нашел первое убежище в Глен-Дохарте, под покровительством графа Бредалбейна; правда, в свое время Бредалбейны усердно потрудились в деле разорения Мак-Грегоров, но за последние годы они дали пристанище многим носителям этого имени в их прежних владениях. В числе покровителей Роб Роя был и герцог Аргайл: он даже, как говорится у горцев, «предоставил ему лес и воду», то есть укрытие, какое давали леса и озера недоступного края.

В те времена знатные люди Горной Страны, помимо честолюбивого стремления поддерживать своих так называемых приверженцев или вооруженных вассалов, старались иметь в своем распоряжении решительных людей, которые были бы не в ладу со светом и его законами и при случае могли бы время от времени опустошать земли и разорять арендаторов враждебного феодала, не навлекая ответственности на своих покровителей. Борьба между кланами Кэмбелов и Грэмов в течение гражданских войн семнадцатого столетия отмечена обоюдными потерями и закоренелой враждой. Смерть знаменитого маркиза Монтроза, с одной стороны, поражение при Инверлохи и жестокий разгром Лорна, с другой, – таковы были взаимные обиды, которые было нелегко забыть. Роб Рой поэтому был уверен, что найдет убежище в стране Кэмбелов, как принявший их имя, как родственник с материнской стороны семейства Гленфаллох и как недруг враждебного им дома Монтроза. Обширные владения Аргайла, куда он в крайнем случае мог отступить, позволяли Мак-Грегору строить дерзкие планы мести.

Теперь он рассчитывал на сильную поддержку в хищнической борьбе с герцогом Монтрозом, которого он полагал виновником всех своих бед: изгнания из общества, изданных против него «грамот о гонении и пленении» (как назывались соответственные указы), поставивших его вне закона, и, наконец, лишения имущества и прав на свои земли. Поэтому он намеревался досаждать герцогу, его арендаторам, друзьям, союзникам и родичам всеми

доступными средствами. И, хотя ему открылся достаточный простор для грабительских подвигов, Роб, называвший себя якобитом, дерзко расширил область своей деятельности на всех тех, в ком ему угодно было видеть сторонников революционного правительства и самого ненавистного из мероприятий – соединения королевств. Под тем или другим предлогом он совершал набеги на соседей, живших в южной части Шотландии, если им было что терять или если они не соглашались откупиться от ограбления, ежегодно уплачивая некоторую сумму за помощь и покровительство.

Местность, где развевалась эта война одного против всех и возводилась в систему грабеж, в те времена, когда дороги еще не связали ее с остальным королевством, благоприятствовала целям Роб Роя. Населенная часть ее, раздробленная на узкие долины, была неизмеримо меньше пустынных лесов, скал и стремнин, которые ее окружали; к тому же край этот изобилдовал непроходимыми ущельями, болотами и естественными твердынями, известными только его обитателям. Незначительный отряд, знакомый с местностью, столкнувшись с превосходными силами, мог без труда ускользнуть от преследования.

Воззрения и обычаи тех, кто жил по соседству с Горной Страной, также немало благоприятствовали Роб Рою в его замыслах. Большая часть окрестных жителей принадлежала к одному с ним клану – к Мак-Грегорам, притязавшим на Балквиддер и другие горные округа из тех, что составляли некогда их владения, хотя суровые законы, так жестоко каравшие клан, передали его права другим родам. Гражданские войны семнадцатого столетия приучили этих людей носить оружие, а воспоминания о перенесенных невзгодах распаляли в них злость и отвагу. К тому же соседство богатой Низины, или Лоуленда, представляло большой соблазн для набегов. Многие представители других кланов, привычные к оружию и презиравшие труд, двинулись к незащищенным границам, обещавшим легкую добычу; и вся страна, ныне мирная и спокойная, в те времена оправдывала мнение (с таким недоверием выслушанное доктором Джонсоном), что самыми беспокойными и беззаконными в Горной Стране были округа, непосредственно граничившие с Нижней Шотландией. Таким образом, для Роб Роя, принадлежавшего к роду, широко рассеянному по описанной нами стране, не представляло труда набрать сколько угодно приверженцев, которых он мог бы вести за собой и содержать на доходы от грабежей и набегов.

Сам он, по-видимому, как нельзя лучше подходил к выбранному им ремеслу. Он был не слишком высок ростом, но необычайно силен и крепко сколочен. Наиболее примечательным в его сложении были широкие плечи и очень большие, несоразмерно длинные руки: говорят, он мог, не нагибаясь, завязать на себе подвязки чулок, которые находятся у шотландца на два дюйма ниже колена. Лицо у него было открытое, мужественное и хотя суровое в минуту опасности, но приветливое и ясное в часы веселья. Темно-рыжие волосы, густые и курчавые, вились вокруг лица. Покрой его платья оставлял, как водится, открытыми колени и верхнюю часть ноги, походившей, как мне рассказывали, на ногу шотландского быка: так же заросшая рыжей шерстью, она у него и по силе мускулов не уступала бычьей ноге. К этим отличительным приметам надо прибавить мастерское владение горским мечом. Большое преимущество давали ему в борьбе его длинные руки и превосходное знание всех глухих уголков дикой местности, где он укрывался, а также нрава тех людей, дружественных и враждебных, с которыми ему приходилось соприкасаться.

Особенности его нравственного облика тоже вполне соответствовали тем обстоятельствам, в какие был он поставлен. Потомок кровожадного Киар-Мора, он не унаследовал его лютости. Напротив, Роб Рой всемерно избегал проявлений жестокости, и не засвидетельствовано случая, когда бы он допустил ненужное кровопролитие или затеял бы дело, которое могло окончиться таковым. Предпринятые им набеги проводились не только смело, но и мудро и почти всегда бывали успешны благодаря искусному руководству, а также тайне и быстроте, с которой они выполнялись. Подобно английскому Робин Гуду, он был добрым и



благородным грабителем и, отбирая у богатых, щедро оделял бедняка. Конечно, здесь мог быть и хитрый расчет, однако все предания страны говорят, что это делалось из лучших побуждений. С кем я ни беседовал, – а в дни юности я нередко встречал людей, знавших Роб Роя лично, – все отзывались о нем как о человеке «на свой лад» милосердном и гуманном.

Его понятия о нравственности были такие же, как у арабского вождя, – они, естественно, проистекали из его первобытного воспитания. Если бы Роб Рой стал оправдывать свой образ жизни, избранный им добровольно или по необходимости, – он, несомненно, считал бы себя храбрецом, которого лицеприятный закон лишает прирожденных прав и вынуждает отстаивать их вооруженной силой; таким очень удачно обрисовал его в своих вдохновенных стихах мой даровитый друг Вордсворт:

Итак, он был и мудр и смел,  
С отвагой ум соединен...  
В моральный принцип он возвел  
Естественный закон.  
Роб говорил: «Не надо книг!  
Тома с законами сожги!  
Они виной тому, что мы  
Не братья, а враги!  
Закон в границы ставит страсть,  
Ведя нас ложною тропой.  
Мы за такой закон идем  
В ожесточенный бой!  
В смятенье, в ослепление мы  
Заветов мудрых не храним...  
Мне в сердце врезались они,  
Я верю только им.  
Те, кто живет в волнах, в лугах,  
Кто режет воздух взмахом крыл,  
Не знают войн, для них всегда  
Мир высшим благом был.  
А почему? Закон простой  
Они хранят с былых времен:  
Пусть тот берет, кто всех сильнее,  
И пусть владеет он.  
Легко понятный всем урок,  
Дающий всем на все ответ...  
Тут для жестокости шальной  
Соблазна сильным нет.  
Тут своеволие не в чести,  
Безумцев диких ждет беда!  
Желанье мерит мерой сил  
Любой из нас всегда.  
Решает жизнь земных существ  
Отвага, высота ума:  
Так Бог решил – одним вся власть,  
Другим – весь гнет ярма.  
Закон, права дающий, прост,  
А жизнь любая – раз мигнуть!

Чтоб защитить свои права,  
 Найдем кратчайший путь!»  
 И так он жил средь этих скал,  
 И в летний зной, и в зимней мгле...  
 Орел – властитель в облаках,  
 А Робин – на земле<sup>4</sup>

Все же не следует думать, что этот незаурядный человек, поставленный вне закона, был истинным героем, неотступно следовавшим в жизни тем нравственным воззрениям, какие прославленный бард, стоя над его могилой, приписывает ему в заботе о его добром имени. Напротив, Роб Рой, подобно многим диким вождям, по-видимому, примешивал к исповедовавшимся им принципам немало коварства и лицемерия, как убедительно показывает его поведение в гражданской войне. Отмечают также – и вполне справедливо, – что хотя учтивость и была одной из его отличительных черт, все же он нередко бывал заносчив и находились гордецы, не желавшие выносить такое обхождение; когда же дерзкий разбойник вступал с ними в ссору, он всегда выходил из нее победителем. Отсюда делали вывод, что Роб Рой был не столько героем, сколько драчуном, или, по крайней мере, что он подчас бывал, как говорится, скор на расправу. Кое-кто из стариков, хорошо знавших его, уверял, что он был сильнее в *taich-tulzie*, то есть в «домашних» драках, чем в смертельном бою. Однако это обвинение опровергается всем его образом жизни; скорее можно допустить, что самое его положение требовало осторожности и не позволяло вмешиваться в ссоры, когда он не мог ждать от них ничего, кроме несчастья, так как успех вооружил бы против него новых могущественных врагов в стране, где месть не считается преступлением и даже вменяется в обязанность. Способность обуздывать свои страсти в таких случаях не только не противоречила роли, поневоле принятой на себя Мак-Грегором, но была в те времена настоятельно необходима, если он не хотел слишком рано сложить свою голову.

Я позволю себе показать на двух-трех примерах, как Роб Рой бывал вынужден придерживаться подобного образа действий. Мой уважаемый покойный друг Джон Рэмзи из Охтертира, выдающийся знаток классической литературы и правдивая живая хроника древней истории и обычаев Шотландии, сообщил мне, что на празднике у костра в городе Дауне Роб Рой чем-то задел Джеймса Эдмондстона из Ньютона, того самого джентльмена, который был, на свое несчастье, замешан в убийстве лорда Ролло (см. Мак-Лорин «Судебные процессы», № IX), и Эдмондстон принудил Мак-Грегора оставить город, пригрозив, что иначе он своими руками бросит его в костер. «Я уже раз намял тебе бока, – сказал он, – а теперь, Роб, если ты не перестанешь меня злить, я сверну тебе шею». Правда, не следует забывать, что Эдмондстон был влиятельным членом партии якобитов – он нес знамя короля Иакова VII в битве при Шериф-муре – и что дело происходило у дверей его дома, где его, вероятно, окружали друзья и приверженцы. Все же доброе имя Роб Роя пострадало, когда угроза вынудила его удалиться.

Другой достоверный случай – это случай с Каннингемом из Бокухана.

Генри Каннингем из Бокухана, эсквайр, был стерлингширским дворянином; подобно многим денди нашего времени, он соединял смелый и пылкий нрав с подчеркнуто учтивым обращением и фатовскими манерами. Его храбрость и подчеркнутое фатовство соединялись, как это не так уж часто бывает, с врожденной скромностью. Вот как его описывает лорд Биннинг в своей сатирической поэме «Утренний прием Аргайла»:

Шестой отвесил он поклон,

<sup>4</sup> Перевод Б. Томашевского.

Но не подходит ближе;  
 И герцог ласково к нему:  
 «Видать, что был в Париже!  
 Манер изящней никогда  
 Я не видал, ей-богу!»  
 Тот покраснел – седьмой поклон –  
 И пятится к порогу.<sup>5</sup>

Ему случилось быть в одной компании с Роб Роем, и тот, то ли из презрения к мнимой изнеженности Бокухана, то ли полагая ссору с ним неопасной (что, по уверениям недругов Роба, он всегда принимал в соображение), оскорбил его так жестоко, что в ответ последовал вызов на поединок. Хозяйка спрятала меч Каннингема, и, в то время как он шарил по всему дому в поисках своего или какого-либо другого меча, Роб Рой отправился на Шиллингский холм – назначенное место поединка – и с величественным видом расхаживал там, ожидая противника. Между тем Каннингем отыскал какой-то меч и, поспешив к месту сражения, набросился на разбойника с такой неожиданной яростью, что прогнал его с поля битвы, и тот некоторое время избегал показываться в том селении. Мистер Мак-Грегор Стерлинг в новом издании своего «*Nimmo's Stirlingshir*» передает смягченную версию этого анекдота; однако и он отмечает поражение Роб Роя.

Время от времени Роб Роя постигали неудачи, и жизнь его подвергалась немалой опасности. Однажды он спасся лишь благодаря хладнокровию своего адъютанта Мак-Аналестера, или Флетчера, игравшего в его шайке роль Джона Маленького, ловкого, предприимчивого удальца и прославленного стрелка. Случилось так, что Мак-Грегор и его отряд были застигнуты врасплох и разбиты превосходными конными и пешими силами противника, и был дан приказ броситься врассыпную. Каждый изворачивался, как умел; один смельчак-драгун настойчиво преследовал Роба и, догнав его, ударил палашом. Железная пластина в шапке Мак-Грегора не дала раскрыть ему череп, но все же удар был настолько силен, что свалил нашего героя на землю, и, падая, Роб воскликнул: «Мак-Аналестер, неужели в ней (то есть в пищали) нет ничего?» Солдат же с криком: «Вот дьявол! Чертова бабка сшила тебе этот колпак!» – уже занес палаш для второго удара, когда Мак-Аналестер выстрелил, и пуля поразила солдата в сердце.

Каков бы ни был Роб Рой, вот как описывает его деяния один талантливый и умный джентльмен, который проживал в той округе, где происходили его хищнические набеги, и, вероятно, испытал на себе их тяжесть, а потому, как и следовало ожидать, говорит о них без той снисходительности, с какой смотрят на них теперь по причине их необычного и романтического характера:

«Этот человек (Роб Рой Мак-Грегор) был достаточно умен и отличался в военном деле как хитростью, так и ловкостью; всецело предавшись распущенности, он стал во главе всех бездельников и бродяг своего клана в западной части Пертшира и Стерлингшира и разорял страну грабежами, набегами и разбоем. Мало кто из живших в пределах досягаемости (то есть на расстоянии ночного перехода) мог считать в безопасности свою жизнь и свое имущество, если не соглашался платить ему тяжелый и постыдный налог – «черную дань». В конце концов он дошел до такой дерзости, что среди бела дня на глазах у правительства грабил, собирал контрибуцию и завязывал драки во главе довольно большого отряда вооруженных людей»<sup>6</sup>

<sup>5</sup> См. «Сборник поэм шотландских джентльменов», т. II, стр. 125. (Прим. автора.)

<sup>6</sup> Грэм Гартмор. Причины смут в Верхней Шотландии. Смотри также: Берт. Письма из Северной Шотландии (в издании Джеймисона). Приложения ко II тому, стр. 348. (Прим. автора.)

Размеры и успех этих набегов не вызовут у нас удивления, если мы вспомним, что они совершались в стране, где обычные законы не соблюдались и не уважались.

Отметив, что угон скота вошел в обычай и даже люди высших классов не брезговали этим делом, так что собственность, заключающаяся преимущественно в стадах, стала очень ненадежной, мистер Грэм добавляет:

«Земли из-за этого не обрабатываются, выгоны не удобряются, и по той же причине нет ни мануфактур, ни промыслов – словом, нет промышленности. Население крайне плодовито и потому так многочисленно, что работы в этих местах, при настоящем хозяйственном устройстве, хватает только для половины жителей. Повсюду полно праздных людей, привычных к оружию и ленивых во всем, кроме грабежа и разбоя. А так как по всему краю можно где угодно увидеть буддели, или питейные дома, то в них они и убивают бесцельно время, зачастую растрачивая там доходы от своих незаконных предприятий. Законы здесь никогда не применялись, никогда споры не решались властью судьи. Судебный исполнитель не смеет и не может выполнять здесь свои обязанности, и многие селения лежат милях в тридцати от местожительства людей, облеченных законной властью. Короче говоря, здесь нет порядка, нет власти, нет правительства».

Пора восстания, 1715 год, наступила вскоре после того, как Роб Рой стал знаменит. Теперь его якобитские симпатии пришли в столкновение с сознанием долга перед косвенным его покровителем, герцогом Аргайлом. Однако желание «потопить звук своих шагов в грохоте всеобщей битвы» принудило его примкнуть со своими людьми к графу Мару, хотя его патрон, герцог Аргайл, стал во главе армии, выступившей против мятежных горцев.

Мак-Грегори – по крайней мере самый большой их род, Киар-Мор, – сражались на этот раз под началом не Роб Роя, а его племянника, о котором мы упоминали выше, Грегора Мак-Грегора, иначе называемого Джеймсом Грэмом из Гленгайла и еще более известного под гэльским прозвищем Глун Ду, то есть Черное Колено – по черному пятну на одном его колене (шотландская одежда оставляет колени открытыми). Однако, вне всякого сомнения, Гленгайл, тогда совсем еще юный, должен был во многих случаях действовать под руководством или по совету столь испытанного вождя, каким был его дядя.

В это время Мак-Грегори собрались в большом числе и стали угрожать даже жителям Низины, у южного берега Лох-Ломонда. Они неожиданно захватили на озере все лодки и, вероятно, в каких-то собственных целях отвели их к Инверснейду, чтобы преградить путь большому отряду вигов западного края, поднявших оружие в защиту правительства и двинувшихся в этом направлении.

Виги предприняли вылазку, чтобы отбить лодки. Их силы составляли добровольцы из Пейсли, Килпатрика и других мест. С помощью отряда моряков они поднялись вверх по реке Левен в больших шлюпках с военных судов, стоявших тогда на Клайде. В Луссе к ним присоединились силы сэра Хамфри Колкухуна и Джеймса Гранта, его зятя, а также их сторонников, одетых в шотландское платье тех времен, что весьма картинно описывается у Гартмора.<sup>7</sup> Весь отряд переправился к Крейг-Ройстону, но Мак-Грегори не вступили в сражение. Если верить рассказу о походе, как дает его историк Рэй, то виги неустрашимо выскочили на берег у Крейг-Ройстона, но неприятель не показывался, и они непрерывным боем в барабаны и пальбой из пушек и ружей настолько устроили Мак-Грегоров, которых так и не увидели, что те оставили свои укрепления и в панике бежали до главного лагеря горцев у Страт-

<sup>7</sup> «Ночью они прибыли в Лусс, где к ним присоединились сэр Хамфри Колкухун из Лусса и Джеймс Грант из Пласкандера, зять его; их сопровождали сорок-пятьдесят статных молодых в коротких чулках и перехваченных поясом плащах, каждый с отличным ружьем, а в левой руке – красивый крепкий щит с ввинченным посередине остроконечным стальным стержнем, длиною около пол-элла; на боку у каждого – тяжелый палаш, а за поясом заткнут один или два пистолета, нож и кинжал» (Рэй. История мятежа, т. IV, стр. 287). (Прим. автора.)

Филлана (Лох-Ломондская экспедиция была признана достойной рассмотрения в отдельной брошюре, которой я не видел; но, судя по цитатам у историка Рэя, она превосходна.

«Назавтра, то есть в четверг, 13-го, они вышли в поход и в полдень подошли к Инверснейду, месту опасному, где люди из Пейсли и Дамбартона и некоторые другие, всего до ста человек, отважно прыгнули на берег, взобрались на горный кряж, и, так как неприятель не показывался, они пустились на поиски своих лодок, захваченных мятежниками, и, случайно наткнувшись на канаты и весла, спрятанные в кустах, нашли наконец лодки, вытащенные далеко на берег, и спустили их к озеру. Лодки, какие были не повреждены, они взяли с собой, а остальные потопили или изрубили в щепы. Той же ночью они вернулись в Лусс, а оттуда на следующий день в Дамбартон (откуда они и пришли), ведя с собой все лодки, найденные ими на обоих берегах озера, а также в заливчиках на островах, и поставили их на причал у замка под защитой пушки. Во время этого похода катера разрядили все свои кулеврины, а люди – все свои ружья. Это произвело такой гром, отдавшийся многократным эхом в горах по обе стороны озера, что Мак-Грегори были повергнуты в уныние и бежали в ужасе к остальным мятежникам, стоявшим лагерем в Страт-Филлане».<sup>8</sup> Жителям Низины удалось забрать свои лодки с изрядным шумом, с немалой отвагой, но безо всякой для себя опасности.

После этой временной смены пристанища Роб Рой был послан графом Маром в Эбердин – как полагают, затем, чтобы подбить на восстание ту часть клана Грегоров, которая обосновалась в этом округе. Люди эти были из одной с ним семьи (из рода Киар-Мор). Они были потомками тех трехсот Мак-Грегоров, которых граф Мерри около 1624 года переселил сюда из своих владений в Монтите для защиты от враждебных ему Мак-Интошей – такого же смелого и беспокойного племени, как и Мак-Грегори.

В городе Эбердине Роб Рой встретил одного своего родственника, как нравом, так и положением отличного от тех, кого он послан был призвать к оружию. Это был доктор Джеймс Грегори (Мак-Грегор по происхождению), родоначальник целой династии профессоров, отмеченных литературным и научным дарованием, дед ныне покойного известного врача и выдающегося ученого, профессора Грегори из Эдинбурга. Этот джентльмен преподавал в то время медицину в королевском колледже в Эдинбурге, а его отец, доктор Джеймс Грегори, известен в науке изобретением отражательного телескопа. Казалось бы, у нашего друга Роба не могло быть ничего общего с такой семьей. Но превратности гражданской войны порой соединяют людей самым неожиданным образом. Доктор Грегори считал разумным в столь критический момент признать родство с влиятельным и грозным человеком. Он пригласил Роба к себе в дом и был с ним так любезен, что пробудил в его великодушном сердце благодарность, которая поставила профессора в крайне затруднительное положение.

У профессора был сын, мальчик лет восьми-девяти, живой и не по возрасту сильный, который всем своим видом очень приглянулся шотландскому Робин Гуду. Накануне отъезда из дома своего ученого родича Роб Рой, который долго ломал голову над тем, как отблагодарить доктора Грегори за теплый прием, отвел его в сторону и обратился к нему с такими словами:

– Любезный родственник, я все думал, что я могу сделать, чтобы показать вам, как я ценю ваше гостеприимство. Так вот, у вас есть сын, мальчик хороший и умный, а вы его портите, забивая ему голову бесполезной книжной премудростью; и я решил, в знак моего доброго расположения к вам и вашему семейству, взять его с собою и сделать из него мужчину.

Ученый профессор был просто ошеломлен, когда его воинственный сородич объявил ему о своем добром намерении в таких выражениях, которые не оставляли сомнения, что предложение должно быть принято с великой благодарностью. Задача, как отговориться или

<sup>8</sup> Рэй. История мятежа, т. IV, стр. 287. (Прим. автора).

объясниться, была очень деликатного свойства: представлялось опасным, как бы Роб Рой не заметил, что в глазах отца покровительство, предложенное сыну, вело его прямой дорогой на виселицу. Между тем все отговорки, какие приходили ему на ум, – как, например, нежелание утруждать своего друга заботой о мальчике, воспитанном в Нижней Шотландии, и т. п., – только укрепляли вождя в решении взять юного родственника под свое покровительство, ибо ему казалось, что они подсказаны лишь скромностью отца. Он и слушать не хотел ни о каких извинениях и даже дал понять, что готов увести мальчика чуть ли не силой – согласится отец или нет. В конце концов смущенный профессор сослался на слишком нежный возраст сына и слабое здоровье, которое не позволит ему переносить суровые условия жизни в горах; но года через два, добавил отец, он надеется, здоровье мальчика окрепнет, и тогда он будет в состоянии сопровождать своего храброго сородича и пойти навстречу той блестящей судьбе, к которой тот открывает ему путь. Придя к такому согласию, родственники расстались. Роб Рой поручился честью, что возьмет юного кузена с собою в горы в следующее свое посещение Эбердиншира, а доктор Грегори, понятно, молился в душе, чтобы ему больше никогда не довелось увидеть кельтское лицо Роба.

Джеймс Грегори, еле избежавший опасности попасть в стан к своему родичу и, вероятно, сделаться его оруженосцем, стал впоследствии профессором медицины в колледже и, как и все почти в его семействе, отличился своими научными достижениями. Он был раздражительного и упрямого нрава, и нередко, когда он выказывал признаки этих недостатков, его друзья приговаривали: «Вот что значит не получить воспитания у Роб Роя!»

Отношения между Робом Роем и его ученым родственником не прекратились с окончанием недолгого могущества Роба. Через много лет после 1715 года он прогуливался по Замковой улице Эбердина рука об руку со своим гостеприимным хозяином, доктором Джеймсом Грегори, когда барабаны в казармах внезапно забили тревогу и показались выбегавшие из казарм солдаты.

– Раз вызвали этих молодцов, – сказал Роб, преспокойно покидая Джеймса Грегори, – значит, мне пора позаботиться о своей безопасности.

С этими словами он нырнул в подворотню и, как говорит Джон Беньян, «пошел своей дорогой, и больше его не видели».<sup>9</sup>

Мы уже отметили, что во время восстания 1715 года Роб Рой вел себя довольно двусмысленно. Сам он и его приверженцы состояли в армии горцев, но сердцем он был, по видимому, с герцогом Аргайлом. И все же мятежники, хотя и говорили, что не могут на него положиться, были вынуждены ввериться Робу, как единственному проводнику, когда шли от Перта к Дамблену для переправы через Форт у так называемого Фрусского Брода.

Это движение на запад повлекло за собой битву при Шерифмуре, правда, не решившую дела, но герцог Аргайл сумел извлечь из нее достаточную выгоду. Следует вспомнить, что в этом сражении горцы обрушили свой правый фланг на левый фланг Аргайла и разгромили его, в то время как кланы на левом фланге армии Мара, хотя и состояли из Стюартов, Мак-Кензи и Камеронов, были наголову разбиты. Пока продолжались бегство и преследование, Роб Рой оставался на холме, в центре позиции горцев, и хотя говорят, что он мог бы, если бы пустился в атаку, решить исход битвы, его не удалось склонить к выступлению. Это было тем печальнее для инсургентов, что предводительство отрядом Мак-Ферсонов было также возложено на Мак-Грегора. Если верить преданию, это было сделано по причине преклонного

<sup>9</sup> Первый из этих анекдотов, который ставит рядом представителей самой высокой цивилизации и полудикого народа, я слышал из уст небезызвестного доктора Грегори, ныне покойного, и члены его семьи были так любезны, что сличили рассказ с семейными документами и личными воспоминаниями, добавляя к нему достоверные подробности. Вторым основан на воспоминаниях одного старика, присутствовавшего при том, как Роб, заслышав барабанный бой, удалился, не простившись со своим ученым родственником, и сообщившего эту деталь мистеру Александру Форбису, свойственнику доктора Грегори, здравствующего по сей день. (Прим. автора.)

возраста вождя Мак-Ферсонов, который, будучи не в силах сам предводительствовать кланом, не пожелал, чтобы его предполагаемый преемник, Мак-Ферсон из Норда, заменил его в этом деле; так что клан или часть его была объединена со своими союзниками Мак-Грегорами. Благоприятный для нападения момент был уже почти упущен, когда до Роб Роя дошел решительный приказ Мара – немедленно идти в атаку. На что он преспокойно возразил:

– Ну нет! Если они не могут выиграть битву без меня, они ее не выиграют и со мною.

Один из Мак-Ферсонов, по имени Александр, занимавшийся тем же, чем когда-то занимался Роб, то есть продажей скота, человек большой силы и отваги, видя бездействие своего временного вождя, так разгневался, что сбросил плед, обнажил меч и обратился к людям своего клана:

– Довольно мы терпели! Если он не поведет, я сам поведу вас.

Роб Рой с полным хладнокровием ответил:

– Когда бы дело шло о быках или баранах из Горной Страны, Сэнди, я бы склонился перед вашим высоким искусством, но, так как вопрос стоит о предводительстве людьми, надо признать, что в этом я лучший судья.

– Если бы дело шло о глен-эйгасских быках, – ответил Мак-Ферсон, – о Роббе и говорить не пришлось бы, он был бы не позади, а впереди стада.

Рассерженный этой насмешкой, Мак-Грегор обнажил меч, и они тут же завязали бы драку, если бы их не разняли друзья с той и с другой стороны. Между тем момент для атаки был окончательно упущен. Роб все же и на этот раз не пренебрег своими личными интересами. В сумятице переменного боя его приверженцы занялись пополнением своих карманов, грабя обоз и обирая трупы павших на той и на другой стороне.

Прекрасная старинная баллада о битве при Шерифмуре не преминула высмеять поведение нашего героя в тот памятный день:

Роб Рой на горе  
Стоит в стороне –  
Караулит добычу, известно,  
Закончился бой,  
А наш-то Роб Рой –  
Он так и не двинулся с места.

Хотя Роб Рой и дальше соблюдал в восстании относительный нейтралитет, он все же понес наказание. Его обвинили в государственной измене, и дом в Бредалбейне, место его пристанища, был сожжен лордом Кадоганом, когда этот генерал по окончании мятежа прошел по Горной Стране, карая восставшие кланы и отбирая у них оружие. Однако, придя в Инверэри с сорока или пятьюдесятью приверженцами, Роб Рой получил помилование благодаря мнимой сдаче оружия полковнику Патрику Кэмбелу Финнаху, который снабдил вождя и весь его отряд охранными грамотами за своею подписью. Достаточно оградив себя таким образом от правительственных гонений, Роб Рой обосновался в Крейг-Ройстоне около Лох-Ломонда, среди своих сородичей и, не теряя времени, возобновил свою ссору с герцогом Монтрозом. Вскоре он собрал столько людей – и притом хорошо вооруженных, – сколько никогда еще не было под его началом. Он не выходил из дома иначе, как под охраной из десяти или двенадцати отборных телохранителей, и мог без труда довести их число до пятидесяти или шестидесяти.

Герцог не пожалел трудов, чтобы уничтожить беспокойного противника. Его светлость обратился к генералу Карпентеру, возглавлявшему военные силы в Шотландии, и по приказу последнего три отряда солдат были двинуты из трех различных пунктов – из Глазго, Стерлинга и Финларига близ Киллирна. Мистер Грэм из Киллирна, родственник и приказчик гер-



цога Монтроза и к тому же еще шериф Дамбартоншира, сопровождал войска для того, чтобы они могли действовать от имени гражданских властей и иметь к услугам надежного проводника, хорошо знакомого с горами. Перед этими тремя отрядами была поставлена задача одновременно прибыть в окрестности пристанища Роб Роя и там захватить его самого и его приверженцев. Однако сильные дожди, трудные условия борьбы в горах и превосходная разведка Роб Роя расстроили эту неплохо задуманную операцию. Увидя, что птицы улетели, солдаты в отместку разорили гнездо. Они сожгли дом Роб Роя, хотя и не безнаказанно: Мак-Грегори, укрывшиеся среди кустов и скал, открыли по ним огонь и убили одного гренадера.

Роб Рой отомстил за понесенную потерю необыкновенно дерзко. В середине ноября 1716 года Джон Грэм из Киллирна, ранее упоминавшийся нами как приказчик Монтроза, прибыл в местность, называвшуюся Чейпл-Эррок, куда созваны были арендаторы герцога для уплаты очередного взноса. Они прибыли согласно указанию, и приказчик успел уже получить фунтов триста наличными деньгами, когда в дом вторгся во главе вооруженного отряда Роб Рой. Приказчик, чтобы спасти вверенную ему собственность герцога, бросил деньги и расчетные книги в чулан, понадеявшись, что их не заметят. Однако искушенного разбойника не так-то просто было обмануть, когда пахло такой добычей. Он обнаружил и книги, и деньги, спокойно уселся в конторе, просмотрел записи, прикарманил деньги и выдал расписки от имени герцога, сказав, что предполагает рассчитаться с Монтрозом за потери, понесенные им по его милости, включая сюда все убытки как от гибели дома, сожженного генералом Кадоганом, так и от последнего налета на Крейг-Ройстон. Затем он приказал мистеру Грэму следовать за собой; обращался он с ним, по-видимому, безо всякой жестокости или грубости, хотя и заявил, что рассматривает его как заложника, и пригрозил сурово с ним обойтись в случае преследования или нападения. Редко когда свершались более дерзкие подвиги. После нескольких быстрых переходов с места на место (единственной неприятностью, на какую мог пожаловаться мистер Грэм, была усталость) Роб отвел пленника на остров среди озера Лох-Кэтрин и принудил его написать герцогу, что выкуп за него определен в три тысячи четыреста мерков.

Эта сумма составляла будто бы долг герцога Роб Рою за вычетом денег, которые тот получил с его арендаторов. Однако, продержав мистера Грэма дней пять или шесть под стражей на острове, который и поныне именуют тюрьмой Роб Роя и где в ноябрьские ночи едва ли уютно было жить, разбойник, видно, потерял надежду извлечь добавочную выгоду из дерзкого покушения и отпустил пленника, не причинив ему никакого вреда и отдав книги и расписки, выданные арендаторами, но не преминув удержать наличные деньги.

Рассказывают и о других проделках Роба, свидетельствующих о такой же смелости и находчивости, как при захвате Киллирна. Герцогу Монтрозу надоела такая дерзость, и он достал некоторое количество оружия и роздал его своим арендаторам для самозащиты в случае дальнейших нападений. Но оружие досталось не тем, кому оно предназначалось. Мак-Грегори нападали на дома арендаторов и разоружали их всех, одного за другим, – надо думать, не без согласия многих из них.

Так как большая часть арендной платы выплачивалась герцогу натурой, в Мулине и прочих местах по всему поместью Бьюкэнан были построены амбары для ссыпки зерна. Роб Рой завел обычай наведываться с значительными силами в эти места – конечно, когда его меньше всего ожидали, – и настаивать на отпуске ему изрядного количества зерна, иногда для его собственных нужд, а иногда для раздачи населению; при этом он всегда выдавал расписки от своего лица и уверял, что рассчитается за получаемое с герцогом в соответственной сумме.

Между тем правительство поставило гарнизон в прежнем владении Роб Роя – Инверсейде; развалины укреплений можно и сейчас еще видеть на полпути между Лох-Ломондом и Лох-Кэтрин. Но и это военное вмешательство не обуздало неугомонного Мак-Грегора.

Он неожиданно напал на маленький форт, разоружил солдат и снес укрепления. Позднее форт был восстановлен и снова захвачен Мак-Грегорами под командой племянника Роб Роя, Глун Ду, накануне восстания 1745–1746 годов. Наконец, после прекращения гражданской войны форт Инверснейд был восстановлен в третий раз, и когда мы застаем там начальником знаменитого генерала Уолфа, воображение наше осаждают многообразные воспоминания о различных временах и событиях. Сейчас форт окончательно упразднен.<sup>10</sup>

Роб Рой продолжал теперь свои действия уже не как явный грабитель, а как своего рода агент полиции, сборщик «черной дани» – по выражению шотландцев. Сущность этого сбора описана в романе «Уэверли» и в примечаниях к настоящему труду. Здесь можно привести ее характерные особенности, как их рисует мистер Грэм Гартмор.

«Смута и беспорядки в стране были так велики, а правительство так мало было этим озабочено, что здравомыслящие люди вынуждены были прибегнуть к позорным и постыдным договорам о «черной дани», чтобы до некоторой степени себя обезопасить. С лицом, держащим самую тесную связь с грабителями, заключается договор, в силу которого ему выплачивается ежегодно известная сумма денег, чтобы грабежи не касались помеченных в договоре земель. Из собранных таким образом средств человек платит одним ворами за то, чтоб они возвращали владельцам угнанный скот, а другим – за то, чтобы они воровали, создавая необходимость в соглашении о «черной дани». Поместья дворян, отказывающихся заключить договор или поддерживать этот разорительный обычай, подвергаются ограблению со стороны той части «охраны», которой положено грабить, и таким образом владельцы принуждают прибегнуть к ее покровительству. Главарь грабителей величает себя «капитаном охраны», а его бандиты именуются «охраной». И так как это дает им некое законное право свободно разъезжать по чужим владениям, они получают возможность свободно причинять любое зло. Рассеянные по горам отряды составляют довольно значительную вооруженную силу; это – люди, с детства привыкшие к трудам походной жизни и могущие при случае выступить в качестве войска.

Люди невежественные и восторженные, стоящие в полной зависимости от вождя или лендлорда, в делах совести руководимые католическим патером или священником-нонконформистом, не владеющие никакой собственностью, подобны глине – из них лепи что хочешь. Они ничего не боятся, так как им нечего терять, а потому их легко вовлечь в любое предприятие. Ничто не может ухудшить их положения; смута и беспорядки соблазняют их в их распушенности, потому что позволяют им улучшить его».<sup>11</sup>

Так как сбор «черной дани» явно поощрял грабеж и сильно препятствовал отправлению правосудия, то в главе 2-й статута 1567 года он был объявлен тяжким преступлением как со стороны взимающего эту дань, так и со стороны плательщика. Все же я думаю, что в каждом отдельном случае применению этого сурового закона мешала безвыходность положения, и люди по-прежнему предпочитали подчиняться незаконным поборам, нежели идти на риск полного разорения, – так же, как в наши дни трудно или невозможно помешать человеку, если у него украли крупную сумму денег, договориться с ворами о частичном возврате украденного.

В каком размере Роб Рой брал дань, мне не довелось узнать; до нас, однако, дошел официальный договор, по которому его племянник в 1741 году обязался перед некоторыми владельцами поместий в графствах Перт, Стерлинг и Дамбартон возвращать украденный у них скот или уплачивать им его стоимость не позже чем через полгода после заявления о пропаже при условии, что такое заявление будет сделано достаточно быстро, за что вла-

<sup>10</sup> Около 1792 года, когда автору во время путешествия по Горной Стране случилось там проезжать, в Инверснейде еще стоял гарнизон, состоявший из одного-единственного ветерана. Почтенный страж мирно и безмятежно жал ячмень на своем участке, и когда мы попросились переночевать, он сказал, что ключ от форта мы найдем под дверью. (Прим. автора.)

<sup>11</sup> «Письма из Северной Шотландии», т. II, стр. 344–345. (Прим. автора.)

дельцы, со своей стороны, обязались выплачивать пять процентов с оценочной стоимости своего имущества, – страховка не слишком тяжелая. Мелкие кражи в договор не включались; но кража лошади, или одной коровы, или свыше шести голов мелкого рогатого скота подпадала под соглашение.

Эти договоры приносили Роб Рою значительный доход как деньгами, так и скотом, и разбойник отдавал его на общественные нужды, ибо он так же любил показать себя щедрым в общественных делах, как благодетелем в частных. Священник прихода Балквиддер, по имени Робисон, одно время грозил прихожанам всяческими карами, если ему не повысят оклад. Роб Рой при первом же удобном случае уверил священника, что ему лучше воздержаться от новых вымогательств, и священник понял намек. Но в порядке некоторой компенсации Мак-Грегор каждый год дарил ему корову или жирную овцу; и говорят, сомнения в том, как достались они дарителю, не тревожили совесть почтенного джентльмена.

Следующий рассказ – о том, как вел себя Роб Рой, когда к нему обратился один из его контрактантов, – представил для меня большой интерес, потому что я услышал его от очевидца – одного старика из Леннокса. Но поскольку в рассказе нет ярких эпизодов и поскольку его, конечно, не будет сопровождать полуиспуганный-полусмущенный взгляд, с каким рассказчик передавал свои воспоминания, то, боюсь, перенесенный на бумагу, он не произведет впечатления.

Было ему пятнадцать лет (сообщил рассказчик), он жил с отцом в Ленноксе, в поместье одного джентльмена (имя которого я позабыл), работая подпаском. Ясным утром в конце октября – время года, когда надо особенно опасаться такого несчастья, – они обнаружили, что ночью у них побывали грабители-горцы и угнали голов десять – двенадцать скота. Послали за Роб Роем, и тот явился с отрядом в семь или восемь вооруженных удалцов. Внимательно выслушав все, что могли ему сообщить об обстоятельствах дела, он выразил уверенность, что «бешеные пастухи»<sup>12</sup> не могли далеко уйти со своей добычей и что он постарается их догнать. Он попросил послать с его отрядом двух местных жителей – потому что смешно же было рассчитывать, что кто-либо из его джентльменов возьмет на себя труд пригнать на место полученный обратно скот. Послали рассказчика и его отца. Им не очень-то хотелось идти, но все же, запасшись пищей и прихватив собаку, чтобы она помогла им управиться со скотом, они отправились с Мак-Грегором. Шли они целый день, держа путь на гору Бенворлих, и ночевали в ветхой лачуге. На следующее утро они снова пустились в путь через горы, причем вел их Роб Рой, находя дорогу по знакам и отметкам на вереске, непонятным для рассказчика.

Около полудня Роб Рой скомандовал вооруженному отряду остановиться и залечь в зарослях вереска, где он был особенно густ. «А вы оба с сыном смело идите на вершину холма, – обратился он к старшему из пастухов, – и там увидите, что в долине за перевалом пасется скот вашего хозяина – может быть, вместе с другим скотом; отберите свой скот (только постарайтесь не брать чужого) и гоните его сюда. Если кто-нибудь заговорит или станет грозить вам, скажите, что я здесь и что со мной отряд в двадцать человек». «А что, если они набросятся на нас или убьют?» – спросил пастух, который вовсе не обрадовался, когда увидел, что на них с сыном возлагают обязанности послов. «Если они нанесут вам какой-либо вред, – сказал Роб, – я не прошу им до конца моих дней». Пастуха ничуть не успокоила такая гарантия, но спорить с Робом он побоялся.

Итак, он поднялся с сыном на холм, и они увидели оттуда глубокую ложбину, где паслось, как и предвидел Роб, большое стадо. Старательно отобрали они животных, уведенных у их хозяина, и приготовились погнать их по склону холма. Но только они пустились в путь, за их спиной поднялись крики и вопли; дрожа от страха, они оглянулись и увидели женщину,

<sup>12</sup> «Бешеными пастухами» называют воров, угоняющих скот. (Прим. автора.)

которая точно выросла из-под земли и обрушилась на них с руганью на гэльском языке. Однако же, когда они, собрав все, что знали по-гэльски, передали ей слова Роб Роя, она угомонилась и исчезла, не причинив им больше никакого беспокойства. Когда они вернулись, Роб выслушал их рассказ и стал с удовольствием говорить о том, что он владеет искусством улаживать такие дела без шума и неприятностей. Отряд двинулся в обратную дорогу, и всякая опасность была теперь позади, хотя трудов предстояло еще немало.

Они гнали скот почти без отдыха, пока не смерклось, и тогда Роб Рой предложил заночевать посреди широкой вересковой пустоши, где холодный северо-восточный ветер, неся мороз на крыльях, насвистывал песенку волынщиков из Страт-Дирна.<sup>13</sup> Горцы, закутавшись в пледы, довольно удобно улеглись на вереске, а пастухам нечем было накрыться. Заметив это, Роб Рой приказал одному из приближенных уделить старику часть своего пледа, «а что до мальчишки, то он может, – добавил разбойник, – согреться, расхаживая вокруг и сторожа скот». Рассказчик выслушал эти слова с немалым огорчением; ледяной ветер пронизывал его все сильнее и, казалось, леденил кровь в его жилах. Всю жизнь приходилось ему переносить непогоду, говорил он, но никогда не мог он позабыть эту холодную ночь; с досады он ругал ясную луну за то, что она так ярко светит, а ничуть не греет. В конце концов холод и усталость сделались до того нестерпимы, что он решил покинуть свой пост, чтобы где-нибудь укрыться и заснуть. Вот он и прилег за спиной одного из самых рослых горцев, который был в отряде чем-то вроде адъютанта. Не довольствуясь защитой его широкой спины, он позарился еще на кусочек пледа и помаленьку, полегоньку натянул на себя один его конец и завернулся. Теперь он был почти как в раю и крепко проспал до зари, а когда проснулся, страшно перепугался, заметив, что своими ночными маневрами совсем открыл шею и плечи дунье-вассала, которые, лишившись защищавшего их пледа, покрылись инеем. Мальчик вскочил в страхе, что его по меньшей мере изобьют, когда обнаружится, как он со всеми удобствами устроился за счет главного лица в отряде. Но добрый господин адъютант встал и отряхнулся, отирая пледом иней и что-то бормоча про холодную ночь. Затем они погнали дальше скот, который и был возвращен владельцу без новых приключений. Вышеизложенное вряд ли можно назвать рассказом, но все же в нем кое-что найдут для себя и поэт и художник.

Около этого же времени, быстро продвинувшись с отрядом своих арендаторов в Балквиддерские горы, герцог Монтроз наконец захватил Роб Роя врасплох и взял его в плен. Его посадили в седло за спиной одного из приверженцев герцога, некоего Джеймса Стюарта, и связали обоих одной подпругой. Тот, кому таким образом вверили Роб Роя, был дедом одного смышленного человека (носившего то же имя и ныне умершего), который последнее время содержал трактир неподалеку от Лох-Кэтрин и услужал своим постояльцам в качестве проводника по этим живописным местам. От него я и слышал эту повесть еще задолго до того, как он стал трактирщиком и проводником, – в те времена он только изредка сопровождал охотников на тетеревов. Был вечер (я продолжаю рассказ), и герцог спешил перевести пленника, за которым так долго и безуспешно охотился, куда-нибудь в надежное место, когда при переправе через Тейт или Форт, точно не припомню, Мак-Грегор, уловив минуту, стал заклинять Стюарта всеми узами старой дружбы и добрососедских отношений дать ему возможность спастись от верной гибели. Стюарта охватила жалость, а может быть, и страх. Он расстегнул подпругу, и Роб, соскользнув с крупа лошади, нырнул, поплыл и скрылся почти так, как это описано в романе. Когда Джеймс Стюарт вступил на берег, герцог сразу обратился к нему с вопросом, где пленник. Не получая ясного ответа, он тут же заподозрил Стюарта в содействии побегу разбойника и, вынув из-за пояса тяжелый пистолет, нанес ему по голове удар, от которого тот, по словам внука, никогда не мог вполне оправиться.

<sup>13</sup> Так называют ветры горной долины в Баденохе. (Прим. автора.)

Когда ему несколько раз удалось уйти от преследования могущественного врага, Роб Рой стал и вовсе дерзок и заносчив. Он написал насмешливый вызов герцогу и пустил его по рукам, чтобы позабавить своих друзей за бутылкой. Этот документ читатель найдет в приложениях (Приложения к введению в данном издании опущены.). Написан он хорошим почерком и не особенно грешит против грамматики и правописания. Поясню читателям-южанам, что это была просто шутка потехи ради со стороны разбойника, слишком умного, чтоб на самом деле предлагать такую встречу. Письмо это было написано в 1719 году.

В следующем году Роб Рой сочинил другое послание, но не к чести своей, так как в нем он признается, что намеренно проигрывал игру во время гражданской войны 1715 года. Послание адресовано генералу Уэду, который был занят тогда разоружением горных кланов и прокладывал по стране военные дороги. Оно весьма примечательно. Автор его говорит, что он с искренней готовностью предложил бы свои услуги королю Георгу, если бы не опасался, что его по настоянию герцога Монтроза бросят в тюрьму за долги. Лишенный, таким образом, возможности встать за правое дело, он примкнул, признается он, к противной стороне – по правилу Фальстафа: в такое время, когда король испытывал недостаток в людях, а мятежники – в солдатах, постыдней было бы остаться праздным среди всей этой сумятицы, чем примкнуть к неправой стороне, будь она даже так черна, как только может быть черен мятеж. Невозможность для себя сохранить нейтралитет во время гражданской войны он выдвигает как нечто неоспоримое. В то же время, признаваясь, что вынужден принять участие в этом чудовищном мятеже против короля Георга, он приводит в свое оправдание то, что не только избегал выступать против войск его величества, но, напротив, доставлял им время от времени те сведения, какие мог собрать. Если требуется это подтвердить, он сошлется на его светлость герцога Аргайла. Как принял это послание Уэд, остается для нас неизвестным.

Роб Рой, по-видимому, продолжал вести свою прежнюю жизнь. Слава его между тем распространилась далеко за пределами того края, где он проживал. Еще при его жизни появилась в Лондоне его вымышленная биография под заглавием «Шотландский лиходея». Это грошовая брошюра, на обложке которой изображен великан-людоед с бородой чуть не по пояс; подвиги его так же преувеличены, как его внешность. Переданы лишь немногие наиболее известные похождения нашего героя, да и то не слишком правдиво, а большая часть книжонки – сплошной вымысел. Очень жаль, что за эту превосходную тему не взялся Дефо, который занимался в то время подобными сюжетами, хотя не столь занимательными.

С годами Роб Рой становился все более миролюбив, а его племянник Глун Ду и большая часть его рода отказались от мелких ссор с герцогом Монтрозом, в которых так отличался дядя. Политика этого именитого дома состояла в последнее время в стараниях привлечь к себе дикий род лаской, а не насилием, к которому бесплодно прибегали до сих пор. За низкую плату была предоставлена аренда многим из Мак-Грегоров, прежде получавшим землю в горных владениях герцога только путем захвата; и Гленгайл (или Черное Колено), продолжая собирать «черную дань», теперь выступал как начальник охраны из горцев, снаряженной на средства правительства. Он, говорят, неукоснительно воздерживался от открытых и незаконных набегов, какие предпринимал его родич.

Вероятно, после того как достигнуто было это временное спокойствие, Роб Рой стал подумывать о будущем. Он был воспитан в протестантской вере и долгое время придерживался ее; однако в последние годы жизни он принял католичество – может быть, следуя принципу миссис Кол, утверждавшей, что эта религия удобна для людей его профессии. Говорят, причиной своего обращения он выставлял желание уважить достойное семейство Перт, в то время строго державшееся католичества. Приняв, по его словам, имя герцога Аргайла, первого своего покровителя, он не мог отблагодарить графа Перт иначе, как признав его религию. Когда его донимали вопросами по этому поводу, Роб даже не пытался отстаивать дог-

маты католицизма и признавался, что миропомазание при соборовании ему всегда казалось лишней тратой ульзи, то есть масла.<sup>14</sup>

В последние годы жизни Роб Роя его клан был вовлечен в ссору с другим, более сильным кланом. Стюарт Аппин, один из вождей клана этого имени, владел фермой в горах Балквиддера, называемой Инверненти. Мак-Грегори из рода Роб Роя, притязавшие на нее по праву стародавнего владения, объявили, что будут всеми силами противиться поселению на ферме кого бы то ни было не из их рода. Стюарты явились с хорошо вооруженным отрядом в двести человек, решив отстоять свое право в бою. Мак-Грегори приняли вызов, но не могли выставить равную силу. Роб, убедившись в численном перевесе противника, вступил в переговоры, где утверждал, что, дескать, оба клана – верные друзья короля Иакова и он, Мак-Грегор, не желал бы, чтобы они ослабляли свои силы междоусобицей: таким образом, передачу Аппину спорной территории Инверненти он поставил себе же в заслугу. Аппин соответственно поселил там арендаторами на льготных условиях Мак-Ларенов – семейство, стоявшее в зависимости от Стюартов; и, так как они славились силой и отвагой, можно было ждать, что они отстоят свои права, если Мак-Грегори нападут на них. Когда спор был полюбовно разрешен в присутствии обоих вооруженных кланов, сошедшихся во всеоружии близ Балквиддерской церкви, Роб Рой, должно быть, опасаясь, как бы его род не сочли слишком покладистым, вышел вперед и сказал, что там, где собралось так много вооруженных храбрецов, позорно будет разойтись, не испытав своего искусства, а потому он берет на себя смелость пригласить любого из Стюартов сразиться с ним за честь своего клана. Зять Аппина, второй предводитель клана, Алластер Стюарт из Инвернахила, принял вызов, и они сразились на палахах и с круглыми щитами пред лицом своих сородичей.<sup>15</sup> Поединок длился, пока Роб не был слегка ранен в руку, на чем и кончались обычно такого рода поединки – когда сражались не до смертельного исхода, а только «ради чести». Роб Рой опустил меч и поздравил своего противника – первого, кому довелось пролить его кровь. Победитель великодушно признал, что, не будь на его стороне преимущества молодости и ее спутника – ловкости, он едва ли одержал бы верх.

Это был, вероятно, последний воинский подвиг Роб Роя. Время его смерти точно неизвестно, но обычно считают, что он пережил 1738 год и умер в преклонном возрасте. Когда он увидел, что конец близок, он раскаялся в некоторых своих поступках. Его жена посмеялась над этими угрызениями совести и увещевала его умереть, как он жил, мужчиной. В ответ он стал ее укорять за неукротимые страсти и за те советы, какие она ему давала. «Ты сеяла раздор, – сказал он, – между мной и лучшими людьми страны, а теперь хочешь поселить вражду между мною и Богом».

Существует предание, вовсе не противоречащее вышеприведенному, если правильно понимать нрав Роб Роя, будто, лежа на смертном одре, он узнал, что его хочет навестить один человек, с которым он враждовал. «Подымите меня с постели, – сказал больной, – накиньте мне на плечи тартан и подайте мне меч, кинжал и пистолеты, чтобы никто не мог сказать, что враг видел Роб Роя Мак-Грегора беззащитным и невооруженным». Его недруг – как полагают, один из Мак-Ларенов (о которых речь уже была и еще будет ниже) – вошел и, рассыпаясь в любезностях, осведомился о здоровье своего грозного соседа. Роб Рой был холоден и надменно вежлив во время короткого свидания и, как только гость оставил дом, сказал: «Теперь все кончено – пусть волынщик сыграет *Ha til tulidh*» («Мы больше не вернемся»); и, говорят, он отошел в лучший мир, прежде чем была доиграна прощальная песнь.

<sup>14</sup> Такое утверждение приписывается в «Уэверли» разбойнику Доналду Бин Лину. (Прим. автора.)

<sup>15</sup> По другим версиям, противником Роб Роя был при этом случае сам Аппин. В тексте я привожу версию Инвернахила, как я ее помню. Но я получил эти сведения в такие далекие годы, что, возможно, я и ошибаюсь. Инвернахил был ростом невысок, но отличался атлетическим сложением и превосходно владел мечом. (Прим. автора.)

Этот необыкновенный человек умер в постели, в своем доме, в приходе Балквиддер. Его похоронили там же на кладбище, где его могилу можно различить лишь по грубо высеченному на плите изображению палаша.

Роб Рой, конечно, сложная натура. Его принципиальность, смелость и осторожность – качества, столь необходимые для военного успеха, – оборачивались иногда пороками, в зависимости от того, как они применялись. Однако надо признать, что беззакония, какие он постоянно совершал, можно отчасти извинить его воспитанием; а что касается его политического непостоянства в эти смутные времена, так тут он мог бы сослаться на пример людей гораздо более могущественных, которым труднее простить то, что они становились игрушкой обстоятельств, нежели бедному, доведенному до отчаяния отверженцу. С другой стороны, в нем нередко проявлялись добродетели тем более похвальные, что они как будто не вязались с основными свойствами его характера. Занимаясь ремеслом вожака грабителей – или, говоря современным языком, атамана бандитов, – Роб Рой не был особенно мстителен и бывал даже гуманен в случае удачи. Над памятью его не тяготеют нарекания в жестокости, и если проливал он кровь, то не иначе, как в сражениях. Этот грозный разбойник, напротив, был другом бедных, помогал, чем только мог, вдовам и сиротам, всегда держал данное слово и умер, оплакиваемый дикой своей страной, где было немало людей, чьи сердца благодарили его за оказанные благодеяния и чьи непросвещенные умы не могли осудить его заблуждения.

Здесь, может быть, автору надлежало бы остановиться; однако судьба некоторых членов семьи Роб Роя так необычайна, что соблазняет нас продолжить наш затянувшийся рассказ, ибо она представляет одну из интересных глав, рисуя нам не только нравы горцев, но и всю жизнь общества на той его стадии, когда первобытное полуцивилизованное племя вступает в соприкосновение с народом, у которого цивилизация и государственность достигли полного развития.

У Роба было пять сыновей – Кол, Роналд, Джеймс, Дункан и Роберт. С тремя из них не произошло ничего достопримечательного; но Джеймс, который был очень красив, кажется, унаследовал ум своего отца, а плащ Дугалда Киар-Мора покрыл, как видно, плечи Робина Оога, то есть юного Роба. Вскоре после смерти Роб Роя снова вспыхнула вражда между Мак-Грегорами и Мак-Ларенами, разжигаемая, говорят, вдовою Роба, которую муж ее, должно быть, по заслугам, называл неугомонной Атэ, подстрекающей к кровавым спорам. Робин Оог по ее наущению поклялся, что, как только он получит обратно ружье, принадлежавшее раньше его отцу и недавно отданное в починку в Дун, он застрелит Мак-Ларена за то, что тот осмелился поселиться на земле его матери.<sup>16</sup> Он сдержал слово и выстрелил в Мак-Ларена, когда тот шел за плугом, смертельно ранив его.

Прибегли к помощи лекаря-горца, который исследовал рану зондом, сделанным из кастока, то есть из кочерыжки или сурепицы. Ученый джентльмен объявил, что не решается прописать лечение, потому что не знает, какою пулей ранен пациент. Мак-Ларен умер, и вскоре за тем его коровам подрезали сухожилия, а весь мелкий скот перебили самым варварским способом.

Робин Оог после этого убийства, объясняемого одним из его биографов как нечаянный ружейный выстрел, удалился в дом своей матери, похваляясь, что первый пролил кровь в этой давней ссоре. Когда же подросли милиция и отряд Стюартов (обязанных встать на защиту своего арендатора), Робин Оог скрылся, и его не нашли.

Вышеупомянутого лекаря, по имени Каллам Мак-Инлестер, вместе с Джеймсом и Роналдом, братьями действительного виновника преступления, привлекли к суду. Им,

<sup>16</sup> Много лет спустя, когда Робин Оог был захвачен властями, это злополучное ружье было у него отобрано. Оно осталось во владении судьи, к которому Робина привели на допрос, а теперь входит в небольшую коллекцию оружия, принадлежащую автору. Это ружье испанского образца, с меткою R.M.C. – то есть Роберт Мак-Грегор Кэмбел. (Прим. автора.)

однако, удалось представить дело как безрассудный поступок «полоумного парнишки Роба», за которого они не ответственны, и суд признал их соучастие в убийстве недоказанным. Обвинение в истреблении и изувечении скота Мак-Ларенов также отпало за отсутствием доказательств. Но так как было все же установлено, что оба брата, Роналд и Джеймс, слывут грабителями, их присудили внести залог в размере двухсот фунтов стерлингов в обеспечение их доброго поведения на ближайшие семь лет.

Так силен был в то время дух общности клана и так соблазнительно было приобрести крепких и отважных приверженцев – то, что у шотландцев называлось «порядочными людьми», – что представитель благородного семейства Перт соизволил открыто взять Грегоров под свою эгиду и выступил на суде в качестве их покровителя. Так по крайней мере сообщил автору покойный Роберт Мак-Интош, эсквайр и адвокат. Впрочем, возможно, что это произошло не в 1736 году, при первом судебном разбирательстве, а позднее.

Робин Оог некоторое время служил в 42-м полку и принимал участие в битве при Фонтенуа, где был ранен и взят в плен. Он был обменен, вернулся в Шотландию и вышел в отставку. Позднее он открыто появился в стане Мак-Грегоров и, невзирая на то, что был объявлен вне закона, женился на дочери Грэма из Дрэнки, довольно состоятельного джентльмена. Жена его умерла несколько лет спустя.

Вскоре после этого Мак-Грегоров снова призвало к оружию восстание 1745 года. Роберт Мак-Грегор из Гленкарноха, общепризнанный глава всего рода и дед сэра Джона, которого клан принял своим вождем, собрал полк Мак-Грегоров и встал под знамена кавалера. Однако склонное к независимости племя Киар-Мора, во главе которого стояли Гленгайл и его родственник Джеймс Рой Мак-Грегор, не примкнуло к полку своего клана, а временно – впредь до прибытия из Франции Уильяма Мак-Грегора Драммонда из Болхалдина, которого они считали главой их ветви клана Алпайн, – присоединилось к отрядам номинального герцога Перта. Чтобы скрепить союз, Джеймс, по обычаю горцев, отказался от имени Кэмбел и принял имя Драммонда, в честь лорда Перта. Его называли также Джеймс Рой по отцу и Джеймс Мор (то есть большой Джеймс) за высокий рост. Его отряд, собранный из остатков банды его отца Роба, развил бурную деятельность; с какими-нибудь двенадцатью молодцами сыну Роб Роя удалось захватить и сжечь во второй раз форт Инверснейд, сооруженный именно с целью обуздать Мак-Грегоров.

В точности неизвестно, какое воинское звание было присвоено Джеймсу Мак-Грегору. Сам он называет себя майором, а кавалер Джонстон называет его капитаном. Он, вероятно, был чином ниже Глун Ду, своего двоюродного брата, но деятельный и смелый нрав возвысил его над всеми его родными братьями. Многие из его сподвижников были невооружены: нехватку ружей и сабель он восполнял резаками кос, насаженными торчком на косовище.

В битве у Престонпенса Джеймс Рой отличился. «Горцы из его отряда, – говорит кавалер Джонстон, – своими косами нанесли противнику большой ущерб». Они подсекали ноги коням, а всадникам вспарывали животы. Мак-Грегор был смел и бесстрашен, но в то же время своенравен и чудаковат. Бросившись с отрядом в атаку, он получил пять ран, из них две огнестрельных; пули прошли навывлет. Вытянувшись на земле и опираясь на руку, он громко закричал горцам своего отряда: «Ребята, я еще жив! Я, черт возьми, увижу, если кто из вас не выполнит свой долг!» Сражение, как известно, было быстро выиграно.

Из любопытных писем Джеймса Роя<sup>17</sup> явствует, что в этом деле он получил перелом берцовой кости, но, несмотря на это, присоединился к армии с шестью своими отрядами и участвовал в неудачной битве при Каллодене. После этого поражения клан Мак-Грегоров слил свои силы в один полк и не рассеивался до возвращения на родину. Джеймса Роя при-

<sup>17</sup> Опубликовано в «Блэквудз мэгэзин», т. II, стр. 228. (Прим. автора.)



несли на носилках; и ему без особых затруднений разрешили поселиться вместе с братьями в стране Мак-Грегоров.

Джеймс Мак-Грегор Драммонд, наравне с более значительными деятелями, был обвинен в государственной измене. Но он, видимо, вступил в сношения с правительством, так как в указанных выше письмах упоминает об охранный грамоте, полученной им в 1747 году от вице-президента Верховного суда и служившей ему достаточной защитой от милиции. Об этом говорится в одном из писем довольно смутно; однако, подкрепленное позднейшими происшествиями, это обстоятельство наводит на подозрение, что Джеймс, как и его отец, умел служить и нашим и вашим. Когда смута в стране утихла, Мак-Грегоры, подобно лисам, ускользнув от собак, забились в свои старые норы, где их никто не трогал. Но одно жестокое преступление, совершенное сыновьями Роб Роя, навлекло наконец на их дом кару закона.

Джеймс Рой был женат и имел четырнадцать детей. Брат же его, Робин Оог, овдовел; и было решено, что он попытается приобрести себе состояние, похитив какую-нибудь состоятельную женщину из Нижней Шотландии и женившись на ней – если понадобится, так силой.

Мысль о насилии такого рода не так возмущала умы полудиких горцев, как можно бы ожидать при той учтивости, какую они неизменно оказывали представительницам слабого пола, когда те входили в их собственную семью. Но, по их понятиям, они жили в состоянии войны; а на войне, со времени осады Трои и со дня, «когда Превиза пала»,<sup>18</sup> женщины-пленницы были для нецивилизованных победителей наиболее ценной частью добычи –

Богатому гибель, красивой – пощада.

Нам не нужно ссылаться ни на похищение сабинянок, ни на сходный случай, описанный в «Книге судей», для доказательства, что подобные насильственные действия совершались достаточно часто. Такого рода предприятия были настолько обычным делом в горной Шотландии, что они составили предмет множества песен и баллад. Летописи как Ирландии, так и Шотландии подтверждают, что такое преступление свершалось сплошь да рядом в наиболее беззаконных частях обеих стран; и если женщина приглянулась смелому человеку из хорошего дома, имевшему горсточку преданных друзей и убежище в горах, ей ничего не оставалось, как сказать «да». Более того, сами женщины, казалось бы, наиболее заинтересованные в неприкосновенности слабого пола, привыкли (особенно в низших слоях) смотреть на такие замужества как на то, что сейчас называют «обращением милой Фанни», а вернее бы сказать – «обращением Доналда с милой Фанни». Не так давно одна почтенная женщина – и отнюдь не из низшего класса общества – резко отчитала автора, когда он позволил себе осудить поведение Мак-Грегоров в этом случае. Незачем, заявила она, предоставлять невесте свободу выбора; в былые дни самыми счастливыми были браки, совершавшиеся на скорую руку. И в заключение она меня уверила, что ее собственная мать никогда не видела ее отца «до той ночи, когда он привез ее из Леннокса вместе со стадом крупного скота в десять голов, а не было пары счастливей по всей округе».

Джеймс Драммонд с братьями, придерживаясь того же мнения, что и старая знакомая автора, при обсуждении вопроса, как бы поправить расстроенные дела своего клана, решили закрепить за братом богатство через выгодный брак и для этого женить Робина Оога на некоей Джин Кей, или Райт, женщине лет двадцати, овдовевшей месяца два тому назад. Ее собственность оценивалась всего в шестнадцать – восемнадцать тысяч мерков, но представляла для этих людей достаточный соблазн, чтобы склонить их на тяжкое преступление.

<sup>18</sup> «Паломничество Чайлд Гарольда», песнь II. (Прим. автора.)

Несчастливая молодая женщина жила вместе с матерью в собственном доме в Эдинбилли, в приходе Балфрон, графства Стерлинг. В ночь на 3 декабря 1750 года сыновья Роб Роя с Джеймсом Мором и Робинот Оогот во главе ворвались в дом, где проживал предмет их притязаний, и, пригрозив ружьями, саблями и пистолетами мужскому составу семьи, нагнали страху на женщин угрозой взломать дверь, если им не выдадут Джин Кей, так как «брат его молод (слова Джеймса Роя) и решил разбогатеть». Вытащив наконец свою жертву из того места, где она укрылась, они отняли ее у матери, посадили на лошадь перед одним из участников набега и увезли, невзирая на вопли и стоны, которые слышались еще долго после того, как отряд скрылся с глаз перепуганных свидетелей похищения. Пытаясь бежать, несчастная женщина спрыгнула с лошади и сломала ребро. Тогда ее перекинули через седло и везли так по болотам и кочкам до тех пор, пока боль в боку, усилившаяся от неудобной позы, не принудила ее смириться и сесть прямо в седло. На обратном пути преступники останавливались во многих домах, но никто из обитателей не посмел вмешаться в их действия. Среди тех, кто их видел, известный знаток античной словесности профессор Уильям Ричардсон из Глазго, ныне покойный, который описал их дерзкое, шумное вторжение в его жилище как страшный сон. Горцы заполнили всю кухню, размахивали оружием, требовали, чего хотели, и получали все, что требовали. Джеймс Мор, по словам профессора, был высоким, суровым человеком воинственного вида; Робин Оог имел более привлекательную внешность: смуглый, с ярким румянцем – красивый молодой дикарь. Их жертва – в истерзанном платье, растерянная, жалкая на вид – была ни жива ни мертва.

Шайка отвезла несчастную женщину в Роуерденнан, где сыскался священник, не постеснявшийся совершить обряд венчания, пока Джеймс Мор силой удерживал невесту у алтаря; и священник объявил чету мужем и женой, как женщина ни возражала против его постыдного поведения. Понуждаемая теми же угрозами, с какими разбойники до сих пор выполняли свой замысел, несчастная жертва поселилась у самозванного супруга, силой навязанного ей. Преступники дерзнули даже привести ее при всем народе в Балквиддерскую церковь, где священник, отправлявший службу (тот самый, что был у Роб Роя на иждивении), спросил только об одном – состоят ли молодые в браке. Роберт Мак-Греггор ответил утвердительно, запуганная женщина промолчала.

В ту пору Горная Страна уже настолько подчинилась закону, что насильники, совершив свое гнусное дело, не смогли извлечь из него выгоду. По всем направлениям были разосланы воинские отряды для поимки Мак-Греггоров, которым пришлось в течение двух-трех недель переходить с места на место, каждый раз уводя с собой и несчастную Джин Кей. Между тем Верховный гражданский суд наложил секвестр на собственность Джин Кей, или Райт, лишив преступников возможности получить ожидаемую награду. Они, однако, еще питали надежду, что несчастная женщина, подавленная всеми этими бедствиями, предпочтет подчиниться и признать Робина Оога своим супругом, нежели покрыть себя позором, открыто явившись в суд с такого рода иском. Пойти на такое дело было и впрямь не просто, но их сородич Гленгайл, прямой глава их семьи, был врагом беззакония;<sup>19</sup> а так как друзья пленницы прибегли к его заступничеству, Мак-Греггоры убоялись, как бы он не лишил их своего покровительства, если они не отпустят Джин Кей на свободу.

Поэтому братья решили освободить свою пленницу, но предварительно испробовали все способы принудить ее, под влиянием страха и других побуждений, признать свой брак с Робинот Оогот. Старые шотландские ведьмы давали ей снадобья, которые должны были подействовать как любовный напиток, но не принесли ничего, кроме вреда. Джеймс Мор

<sup>19</sup> Таким, во всяком случае, он прослыл, и когда Джеймс Мор во время нападения в Эдинбилли с целью запугать сопротивляющихся закричал, что Гленгайл залег поблизости с отрядом в сто человек, чтобы прийти ему на помощь, Джин Кей сказала, что он лжет, так как она никогда не поверит, чтобы Гленгайл потакал такому злодейскому поступку. (Прим. автора.)

одно время угрожал ей, что если она не признает брак, то в Горной Стране найдется достаточно мужчин, способных снести головы двум ее дядям, предъявившим гражданский иск. В другой раз он упал перед ней на колени и, признавшись, что причастен к похищению, умолял ее не губить его неповинную жену и все его многочисленное семейство. Ее заставили дать клятву, что она не будет преследовать братьев судом за свою обиду; и разными угрозами принудили подписать поданные ей бумаги, где говорилось, что ее увезли в согласии с высказанным ею же самой пожеланием.

После этого Джеймс Мор Драммонд доставил свою мнимую невестку в Эдинбург, где некоторое время ее переводили из дома в дом, оставляя под присмотром хозяев и не разрешая ей ни выходить одной на улицу, ни хотя бы подходить к окну. Верховный гражданский суд, принимая в соображение необычайные обстоятельства дела и полагая, что Джин Кей по-прежнему действует по принуждению, взял ее под свою опеку и определил ей местопребывание в семье мистера Уайтмена из Молдсли, почтенного джентльмена, женатого на ее близкой родственнице. Двое часовых день и ночь охраняли дом – предосторожность едва ли излишняя, когда дело шло о Мак-Грегорах. Ей было дозволено ходить, куда она захочет, и видеть, кого пожелает, в том числе и стряпчих, выступавших в гражданском процессе с той и другой стороны. Когда она только что пришла в дом мистера Уайтмена, она казалась от страха и мучений крайне подавленной; лицом она настолько изменилась, что родная мать едва узнала ее, и настолько повредила умом, что сама не сразу признала родителей. Долгое время ей не могли внушить, что она в безопасности. Когда же она наконец в этом уверилась, она подала в суд заявление, так называемое *affidavit*,<sup>20</sup> в коем изложила свои обиды, приписав страху прежнее свое молчание и высказав решение не преследовать своих обидчиков из уважения к клятве, которую вынудили у нее. Нарушение такой клятвы, пусть даже принудительной, ей облегчали самые формы шотландского правосудия, в этом отношении более беспристрастного, чем английское, так как уголовное преследование всегда производится от лица и за счет правительства, причем пострадавшая сторона не платит судебных издержек и не подвергается никаким неприятностям. Однако несчастная страдалица не дожидаясь дня, когда ей предстояло выступить истицей или свидетельницей против своих обидчиков.

Джеймс Мор Драммонд уехал из Эдинбурга, как только полумертвую добычу вырвали из его когтей. Миссис Кей, или Райт, освободили из ее своеобразного заключения и под охраной мистера Уайтмена привезли в Глазго. Проезжая с нею мимо горы Шотс, он заметил: «Место это очень дикое – что, если Мак-Грегоры нападут на нас?» «Боже упаси, – вырвалось у нее, – один вид их меня убьет!» Она осталась жить в Глазго, не решаясь вернуться в свой дом в Эдинбилли. Ее мнимый супруг несколько раз пытался добиться свидания с нею, но она неизменно отклоняла его просьбы. 4 октября 1751 года она умерла. В донесении суду говорится, что ее смерть, возможно, явилась следствием дурного обращения. Но есть сведения, что она умерла от оспы.

Тем временем Джеймс Мор, или Драммонд, попал в руки правосудия. Его признали зачинщиком всего дела. Более того, покойная в свое время сообщила друзьям, что в ночь похищения Робин Оог, тронутый ее слезами и стонами, уже почти согласился отпустить ее, но тут подоспел Джеймс с пистолетом в руке и спросил, неужели он такой трус, что выпустит из рук счастье, ради которого он, Джеймс, пошел на такой риск; и Робин подчинился брату.

Суд над Джеймсом состоялся 13 июля 1752 года и был проведен со всею честностью и беспристрастием. Несколько свидетелей, сплошь члены семьи Мак-Грегоров, присягнули, что венчание прошло, по всей видимости, при полном согласии невесты; а трое или четверо свидетелей, в том числе заместитель шерифа по округу, присягнули, что она могла при желании бежать; причем почтенный блюститель закона показал, что он даже предлагал ей

<sup>20</sup> письменное показание, подкрепленное только присягой (лат.).

помощь, буде она пожелает так поступить. Однако на вопрос, почему он, облеченный на то законным правом, не арестовал Мак-Грегоров, он только и смог сказать в ответ, что не располагал достаточными силами для такого предприятия.

В заявлениях Джин Кей, или Райт, указывалось, как жестоко с ней обращались при похищении; эти показания были подтверждены многими ее друзьями, которым она сообщала подробности в частных беседах, а также самой ее смертью. И правда, факт ее увода (прибегаю к шотландскому судебному термину) был вполне доказан беспристрастными свидетелями. Несчастливая женщина призналась, что несколько раз ей предлагали бежать, но она не доверяла своим доброжелателям, в том числе и заместителю шерифа, и отговаривалась тем, что она-де покорилась своей участи.

Суд присяжных подтвердил в приговоре, что Джин Кей, или Райт, была насильственно уведена из своего дома, как это указано в обвинительном акте, и что обвиняемый не смог доказать, что насилие было совершено с ее ведома и согласия. Однако насильственный брак и последующее жестокое обращение присяжные признали недоказанными, а вступительная часть их приговора особо отмечает как обстоятельство, смягчающее вину подсудимого, что Джин Кей впоследствии примирилась со своим положением. Одиннадцать человек из присяжных от своего имени и от имени четырех отсутствующих подписали письмо в Верховный суд, разъясняющее, что, вынося такой приговор, они преследовали целью изъять дело из разряда тяжких преступлений, караемых смертью.

Заключение высокоученых присяжных, которое нельзя не признать крайне мягким по тем обстоятельствам, было представлено в Верховный суд. Сей документ был весьма подробно обсужден в заключениях мистера Гранта, представителя короны, и небезызвестного мистера Локхарта – представителя защиты; но Джеймс Мор не стал дожидаться решения суда.

Поступили доносы о готовящемся будто бы побеге, и его перевели в Эдинбургский замок. И все же он сумел выбраться на свободу даже из этой крепости. Его дочь ухитрилась проникнуть в тюрьму, переодевшись сапожником, который якобы принес заказ. В то же платье сапожника поспешно переоделся ее отец. Часовые слышали, как жена и дочь заключенного накиннулись на мнимого сапожника с бранью за плохую работу, когда он вышел, надвинув шляпу на глаза и ворча, – точно рассердившись на их неучливое обращение. Заключенный прошел мимо всех часовых, не возбудив подозрений, и бежал во Францию. Позднее он был объявлен вне закона постановлением суда, который 15 января 1753 года приступил к разбирательству дела его брата, Дункана Мак-Грегора, или Драммонда. Обвиняемый, несомненно, участвовал в похищении Джин Кей; но, так как прямых улик против него не было, присяжные признали его невиновным; о его дальнейшей судьбе более ничего не известно.

О судьбе же Джеймса Мак-Грегора, который, если не по старшинству, то по дарованиям и рвению может считаться главой рода, долгое время существовало превратное представление, так как в судебных отчетах, да и повсюду, указывалось обычно, что объявление его вне закона было отменено и что он вернулся в Шотландию, где и умер. Однако любопытные документы, опубликованные в «Блэквудз мэгэзин» за декабрь 1817 года, показывают, что это неверно. Первый из этих документов – петиция к Карлу Эдуарду от 20 сентября 1753 года. В ней Джеймс Мак-Грегор ссылается на свои заслуги перед домом Стюартов, объясняя свое изгнание преследованием со стороны ганноверского правительства и ни словом не упоминая о деле Джин Кей и о приговоре Верховного суда. Установлено, что петицию подал Мак-Грегор Драммонд из Болхалди, которого, как упоминалось выше, Джеймс Мор признавал своим вождем.

Неизвестно, к чему привела эта петиция. Возможно, Джеймсу Мак-Грегору удалось добиться для себя временного облегчения. Но вскоре неугомонный авантюрист затеял самую черную интригу против одного изгнанника, который тоже был уроженцем Горной Страны

и попал почти в такое же положение, как и он. Здесь стоит вкратце рассказать эту повесть, рисующую нравы горцев. Мистер Кэмбел из Гленура, назначенный уполномоченным правительства по управлению конфискованными имениями Стюарта Ардшила, был убит выстрелом из ружья, когда он, одолев переправу через реку у Баллихулиша, проходил по Леттерморскому лесу. Некий джентльмен, по имени Джеймс Стюарт, незаконный брат Ардшила, человек, лишенный прав, был привлечен к суду, как соучастник убийства, приговорен и казнен при наличии весьма сомнительных улик: самой веской из них было лишь то, что подсудимый снабдил деньгами своего племянника, Аллана Брека Стюарта, бежавшего после убийства. Отомстив таким путем за убийство (что отнюдь не делало чести тогдашнему правосудию), друзья Гленура на этом не успокоились и стали добиваться ареста Аллана Брека Стюарта, предполагая в нем действительного убийцу. К Джеймсу Мору Драммонду тайно обратились с просьбой заманить Стюарта на берег моря и доставить в Англию, где его ждала верная смерть. Драммонд Мак-Грегор был родственником убитого Гленура; к тому же между Мак-Грегорами и Кэмбелами установились в последнее время дружественные отношения, тогда как Мак-Грегоры и Стюарты, как мы уже видели, состояли с недавнего времени во вражде; и, наконец, Роберт Оог содержался под стражей в Эдинбурге, и Джеймс хотел чем-нибудь выслужиться, чтобы спасти брата. Эти три побудительные причины при его своеобразных взглядах на добро и зло, возможно, оправдывали Джеймса в собственных глазах, когда он взялся за это предприятие, хотя было совершенно очевидно, что выполнить его он мог только с помощью коварного предательства. Мак-Грегор потребовал для себя разрешения вернуться в Англию, обещая привести с собой Аллана Брека. Однако двое соотечественников, разгадав намерения Джеймса, предостерегли намеченную жертву. Аллан спасся от похитителя, украв из его дорожного мешка, как утверждал Мак-Грегор, кое-какую одежду и четыре табакерки. Следует отметить, что такое обвинение становится правдоподобным только в том случае, если Джеймс и Аллан Брек были в дружеских отношениях и каждый имел доступ к вещам другого.

Хотя Джеймсу Драммонду и не удался его умысел против Аллана Брека Стюарта, все же он воспользовался разрешением и приехал в Лондон, где, как он сообщает, имел свидание с лордом Холдернесом. Лорд и товарищ министра задали ему ряд щекотливых вопросов и, по его словам, предложили теплое местечко на государственной службе. В смысле доходов место было выгодным, но, по мнению Джеймса Драммонда, принять его значило покрыть свое имя позором и стать бичом для родной страны. Если такое заманчивое предложение и решительный отказ и впрямь имели место, то речь, наверно, шла о шпионстве за якобитами: правительство попыталось, как видно, использовать в этих целях человека, показавшего себя не слишком разборчивым в деле Аллана Брека Стюарта. Драммонд Мак-Грегор учтиво изъявил готовность поступить на любое место, достойное джентльмена, но не иначе, — ответ, который, если вспомнить некоторые случаи его прошлой жизни, должен напомнить читателю преувеличенные заботы Пистоля о своей репутации.

Отклонив, таким образом, по его словам, предложения лорда Холдернеса, Джеймс Драммонд получил приказ немедленно покинуть Англию. Вернувшись во Францию, он, видимо, попал в очень бедственное положение. Он захворал лихорадкой, обнаружились камни в почках; больной телом, он ослаб духом и впал в уныние. Аллан Брек грозил убить его в отместку за его злые козни.<sup>21</sup> Клан Стюартов относился к нему весьма недружелюбно,

<sup>21</sup> Аллан Брек Стюарт был из тех людей, которые в этих случаях держат свое слово. Он и Джеймс Драммонд Мак-Грегор, подобно Катарине и Петруччо, составляли отличную «пару тихонь». Аллан Брек дожил до начала Великой французской революции. Около 1789 года один из моих друзей, живших тогда в Париже, был приглашен посмотреть на какую-то процессию, которая должна была его заинтересовать, из окон жилища, занимаемого бенедиктинским священником-шотландцем. Он увидел сидевшего у очага высокого, худого, костлявого, мрачного на вид старика с маленьким крестом святого Людовика на груди. У него были сильно выступающие скулы и подбородок, глаза серые. Седые волосы сохраняли при-

а его недавнее путешествие в Лондон наводило на подозрения – и тем более естественные, что он почему-то скрыл свои цели от предводителя клана Болхалди. Его сношения с лордом Холдернесом были подозрительны. Вероятно, якобиты, подобно дону Бернару де Кастель Бласо в «Жиль Бласе», не были расположены к тем, кто водил компанию с алыгвасилами. Мак-Деннел из Лохгарри, джентльмен незапятнанной чести, заявил на Джеймса Драммонда в Дюнкирхене властям, обвиняя его в шпионаже, что и вынудило Драммонда с тринадцатью ливрами в кармане покинуть город и вернуться в Париж на полную нищету.

Мы не собираемся возбуждать в читателе сочувствие к осужденному вору, соучастнику убийства Мак-Ларена и вдохновителю насилия над Джин Кей, но нельзя без грусти смотреть на предсмертные терзания даже таких врагов человеческого рода, как волк или тигр; вот так же невольно чувствуешь жалость, когда думаешь о горестном конце этого человека, в чьих преступлениях повинна дикая система воспитания, поощрявшая его высокомерие и необузданный нрав. В последнем письме к Болхалди, помеченном «Париж, 25 сентября 1754 года», он описывает свою крайнюю нужду, выражая готовность, пока не подвернется что-нибудь получше, поступить на место берейтора, конюха или егеря. Англичанин, может быть, улыбнется, но шотландец вздохнет, прочтя постскрипtum, в котором несчастный, умирающий с голоду изгнанник просит своего покровителя одолжить ему волынку, чтобы иногда наигрывать на ней грустные мелодии родной страны. Действие музыки во многом зависит от навеваемых воспоминаний; поэтому звуки, которые лондонцу или парижанину раздражают нервы, горцу напомним высокую гору, ущелье, дикое озеро и подвиги его отцов. Чтобы доказать право Мак-Грегора на сострадание нашего читателя, мы приводим здесь последнюю часть этого письма:

*Я, как видно, рожден для страданий, и, кажется, им не будет конца; мое печальное положение ныне таково, что я не знаю, что мне делать и куда податься, – мне просто не на что существовать. Я приехал сюда, имея за душой тринадцать ливров, и поселился в своем прежнем жилище – в гостинице Сен-Пьер на улице де Кордые. Обращаюсь к вам с просьбой: дайте мне знать через подателя этого письма, не будете ли вы вскоре в городе, чтобы я мог иметь удовольствие видеть вас, ибо мне не к кому прибегнуть, кроме вас; я прошу только одного: не можете ли вы подыскать для меня какое-либо занятие, чтобы я не впал в совершенную нищету? Сделать это, вероятно, нелегко, но если это не покажется вам слишком затруднительным, то вам не придется долго ломать над этим голову, ибо вы при вашей мудрости способны выполнять дела гораздо большей трудности и важности. Если вы переговорите об этом деле с вашим другом мистером Батлером, возможно, у него найдется та или другая должность, на которой я мог бы быть полезен, так как, полагаю, что вряд ли кто во Франции лучше меня умеет объезжать лошадей, а кроме того, я неплохой охотник, как в седле, так и пеший. О моем стесненном положении вы можете судить уже по тому, что я готов начать с самого ничтожного, пока не подвернется что-нибудь получше. Очень сожалею, что вынужден доставить вам столько беспокойства, однако я надеюсь, вы прекрасно*

---

знаки того, что были когда-то рыжими; лицо было обветренное и на редкость веснушчатое. Старик и мой друг перебросились несколькими любезными словами на французском языке, обменявшись замечаниями об улицах и площадях Парижа; затем старый солдат – таковым он казался, да и был на самом деле – глубоко вздохнул и с резким акцентом шотландского горца сказал: «Может ли хоть одна из них сравниться с главной улицей Эдинбурга!» Этот поклонник «Старого Дымокура», которого ему не суждено было увидеть вновь, оказался не кем иным, как Аланом Бреком Стюартом. Он скромно жил на небольшую пенсию и за все эти долгие годы, до конца своих дней, ни разу не впадал в то состояние бешенства, в каком он, как принято думать, убил того, в ком видел врага и угнетателя своего рода и клана. (Прим. автора.)

*знаете, как я благодарен за все, что вы сделали для меня, и предоставляю вам судить о настоящем моем бедственном положении. Остаюсь навсегда, дорогой вождь, готовый к услугам*  
Дж. Мак-Грегор.

*P.S. Если вы пришлете с подателем сего вашу волюнку и все принадлежности к ней, я соберу ее и буду наигрывать грустные мелодии – я теперь могу заниматься этим без опасения и от всей души. Простите, что я не пошел прямо к вам; но если бы даже я мог перенести минуту свидания с вами, мне было бы крайне тяжело, что мои друзья или просто знакомые видят меня в столь бедственном положении.*

В то время как Мак-Грегор писал это безрадостное письмо, смерть – печальное, но верное лекарство против жизненных невзгод, разрешитель всех сомнений – уже парила над ним. Памятная запись на обороте письма гласит, что автор его умер примерно неделю спустя, в октябре 1754 года.

Остается теперь рассказать о судьбе Робина Оога, ибо остальные сыновья Роб Роя, по-видимому, не были ничем замечательны. Робин был арестован воинским отрядом из форта Инверснейд у подножия Гартмора и отвезен в Эдинбург 25 мая 1753 года. После некоторой отсрочки (вызванной, возможно, переговорами Джеймса о выдаче Аллана Брека Стюарта в обмен за брата) Робин Оог 24 декабря 1753 года предстал пред Верховным судом и был судим под именем Роберта Мак-Грегора, он же Кэмбел, он же Драммонд, он же Роберт Оог, и предъявленное ему обвинение в точности повторяло то, которое было выдвинуто на прошлом разбирательстве. Роберт был, видимо, в более благоприятном положении, чем его брат: будучи главным виновником насильственного брака, он мог, однако, сослаться на то, что при уводе Джин Кей выказал некоторую уступчивость, но ему помешали решительные протесты и угрозы его более жестокого брата Джеймса. К тому же со дня смерти несчастной женщины истекло четыре года – обстоятельство, которое всегда оборачивается в пользу подсудимого; ибо в вине есть нечто вроде перспективы, и стародавнее преступление кажется менее гнусным, чем совершенное только что. Тем не менее присяжные в деле Роберта не приложили никаких стараний к спасению его жизни, как они это сделали для Джеймса. Его признали виновным как зачинщика и соучастника в насильственном уводе Джин Кей из ее жилища. Судебные разбирательства дел сыновей Роб Роя, с добавлением рассказов о нем и его семействе, были опубликованы в Эдинбурге в декабре 1818 года. (Прим. автора.)]

Роберт Оог был приговорен к смертной казни и повешен 14 февраля 1754 года. Во время казни он держался с достоинством. Объявив себя католиком, он приписал все свои бедствия тому, что года за два перед тем отошел от истинной церкви. Он признался, что прибегнул к насильственному образу действий, чтобы получить в жены миссис Кей, или Райт, и выразил надежду, что его казнь прекратит дальнейшие преследования против его брата Джеймса.<sup>22</sup>

Газеты отметили, что его тело, повисев положенное время, было выдано друзьям, которые отвезли его в Горную Страну. Воспоминания уважаемого друга, недавно во цвете лет покинувшего нас, а в те годы учившегося в Линлитгоуской школе, позволяют автору добавить, что отряд Мак-Грегоров, гораздо больший, чем тот, который побеспокоился явиться в Эдинбург, встретил в Линлитгоу тело Робина Оога и с коронахом и прочими неистовыми изъявлениями скорби, принятыми среди горцев, проводил его до Балквиддера.

---

<sup>22</sup> Джеймс умер месяца за три до того, но его семья вполне могла долго оставаться в неведении относительно этого события. (Прим. автора.)

Таким образом, мы можем заключить этот длинный рассказ о Роб Рое и его семействе классической фразой:

ITE, CONCLAMATUM EST.<sup>23</sup>

Добавлю только, что вышеизложенное я отобрал из многочисленных случаев жизни Роб Роя, какие рассказывались, а может быть, и по сей день рассказываются среди горцев, там, где он совершал свои подвиги; однако я не могу поручиться за полную их достоверность. Клановые интересы так же могли направлять язык и перо, как направляют они пистолет и палаш, и многое в рассказе чудесным образом смягчалось или же преувеличивалось — смотря по тому, кто его передавал, Мак-Грегор или Кэмбел.

---

<sup>23</sup> Идите. Зов прозвучал (лат.).



## Глава I

*В чем грех мой, что легло такое горе  
На плечи мне? Отныне у меня  
Нет больше сына! Да сразит проклятье  
Того, кто так тебя преобразил!  
Ты хочешь путешествовать? Скорее  
Я в путешествие пошлю коня!*

*Monsieur Thomas*<sup>24</sup>

Вы убеждали меня, дорогой мой друг, часть того досуга, которым провидение благословило закат моей жизни, посвятить описанию невзгод и опасностей, сопровождавших ее рассвет. Действительно, воспоминание о тех похождениях, как вам угодно было их назвать, оставило в моей душе сложное и переменчивое чувство радости и боли, смешанное, скажу я, с великой благодарностью к вершителю судеб человеческих, который вел меня вначале по пути, отмеченному трудами и превратностями, чтобы тем слаще казался при сравнении покой, ниспосланный мне под конец моей долгой жизни. К тому же как могу я сомневаться в том, о чем вы мне не раз твердили: что выпавшие мне на долю злоключения среди народа, до странности первобытного и по обычаям своим и по гражданскому строю, должны привлечь каждого, кто не прочь послушать рассказы старика о былых временах.

Все же вы не должны забывать, что повесть, рассказанная другу и другом выслушанная, утратит половину своей прелести, если ее изложить на бумаге, и что рассказы, за которыми вы с интересом следили, прислушиваясь к голосу того, кто все это пережил сам, окажутся не столь уж занимательны, когда вы станете их перечитывать в тиши своего кабинета. Но ваш еще не старый возраст и крепкое сложение обещают вам более долгие годы, чем может их выпасть на долю вашему другу. Бросьте же эти листы в какой-нибудь ящик вашего секретера до той поры, когда разлучит нас событие, которое грозит наступить в любую минуту и неизбежно наступит на протяжении немногих – очень немногих – лет. Когда мы расстанемся в этом мире, – чтобы встретиться, как я надеюсь, в лучшем, – вы станете, наверно, чтить больше, чем она заслуживает, память ушедшего друга; и в тех подробностях, что я собираюсь теперь поверить бумаге, вы найдете предмет для грустных, но не лишенных приятности размышлений.

Другие завещают своим закадычным друзьям портреты, изображающие внешние их черты, – я же передаю вам в руки верный список мыслей моих и чувствований, моих добродетелей и недостатков в твердой надежде, что безумства и своенравная опрометчивость моей молодости встретят ту же благосклонность, ту же готовность прощать, с какими вы так часто судили об ошибках моих зрелых лет.

Обращаясь в своих мемуарах (если можно так торжественно назвать эти листы) к дорогому и близкому другу, я в числе многих преимуществ приобретаю еще и ту выгоду, что могу опустить иные подробности, в этом случае излишние, но которые поневоле должен был бы изложить человеку постороннему, отвлекаясь от более существенного. Разве стану я докучать вам только потому, что вы в моей власти, что передо мной бумага и чернила и что времени у меня достаточно? Но все же трудно мне пообещать, что я не употреблю во вред этот соблазнительно представившийся случай поговорить о себе и о своих заботах, хотя мое

---

<sup>24</sup> Господин Тома (франц.).

повествование касается обстоятельств, известных вам так же хорошо, как и мне. Когда мы сами – герои событий, о которых говорим, то нередко, увлеченные рассказом, мы бываем склонны пренебречь заботой о времени и терпении наших слушателей, и часто лучшие и мудрейшие из нас уступали такому соблазну. Стоит мне только напомнить вам забавный пример с мемуарами Сюлли в той редкой и своеобразной их редакции, которую вы (в наивном тщеславии библиофила) упрямо предпочитаете другой, где они приведены в обычной для мемуаров удобочитаемой форме, тогда как, на мой взгляд, эта любимая вами редакция любопытна лишь одним: она показывает, до чего может дойти в своем самомнении даже такой большой человек, как их автор. Если память мне не изменяет, этот почтенный вельможа и государственный муж выбрал четырех джентльменов из своих приближенных и поручил им изложить события его жизни под заголовком: «Воспоминания о мудрых королевских деяниях, государственных, семейных, политических и военных, совершенных Генрихом IV...» и т. д. Важные хроникеры, составив свою компиляцию, придали мемуарам о замечательных событиях жизни их господина форму рассказа, обращенного к нему самому *in propria persona*.<sup>25</sup> Таким образом, вместо того чтобы рассказать свою историю в третьем лице, как Юлий Цезарь, или в первом, как большинство тех, кто в гостиной или в кабинете затеет занять общество повествованием о себе самом, Сюлли вкушает утонченное, но необычное наслаждение: сам превратившись в слушателя, он внимает повести о событиях своей жизни в изложении своих секретарей, будучи в то же время героем, а может быть, и автором всей книги. Великолепное было, вероятно, зрелище: экс-министр, прямой, как палка, в накрахмаленных брыжах и в расшитом камзоле, помпезно сидит под балдахинном и внемлет чтению своих компиляторов; а те, стоя перед ним с непокрытыми головами, самым серьезным образом ему сообщают: «Герцог сказал то-то, герцог поступил так-то; мнение вашей милости по этому сложному вопросу было таково; в другом же, не менее затруднительном случае ваши тайные советы королю были таковы», – хотя все эти обстоятельства, конечно, были лучше известны их слушателю, нежели им самим, и большую часть их они могли узнать только из его же доверительного сообщения.

Я не в таком смешном положении, как великий Сюлли, но все же покажется странным, если Фрэнк Осбалдистон станет давать Уиллу Трешему формальный отчет о своем рождении, воспитании и положении в обществе. Поэтому, поборов искушение поддаться увещаниям П. П., причетника нашего прихода, я постараюсь обойти в своем рассказе все то, что вам уже известно. Однако кое-какие события я должен восстановить в вашей памяти: если раньше вы их превосходно знали, то с течением времени могли забыть, а между тем они во многом определили мою судьбу.

Вы должны хорошо помнить моего отца: ведь ваш отец был компаньоном нашего торгового дома, так что вы с детства знали моего старика. Но вряд ли видели вы его в лучшие дни – до того, как годы и болезнь охладили в нем пламенный дух предприимчивости и сковали его деловой размах. Он был бы беднее, но, пожалуй, не менее счастлив, если бы посвятил науке ту неукротимую энергию и острую наблюдательность, которые направил на торговлю. Однако в приливах и отливах коммерческой удачи, независимо даже от надежды на прибыль, есть что-то захватывающее для искателя приключений. Кто пустился в плавание по этим неверным водам, должен обладать искусством кормчего и выносливостью мореплавателя – и все-таки может потерпеть крушение и погибнуть, если ветер счастья под конец не станет ему служить. Напряженное внимание в соединении с неизбежным риском – постоянная и страшная неуверенность, победит ли осторожность игру случайностей, не опрокинет ли злая случайность расчеты осторожности, – занимает все силы и ума и чувства, и

<sup>25</sup> в его собственном лице (лат.).

торговля, таким образом, заключает в себе все прелести азартной игры, не нанося ущерба нравственности.

В начале восемнадцатого столетия, когда мне с Божьей помощью едва исполнилось двадцать лет, я был внезапно отозван из Бордо к отцу по важному делу. Никогда не забуду нашей первой встречи. Вы помните его резкую, несколько суровую манеру выражать окружающим свою волю. Мне кажется, я и сейчас мысленно вижу его перед собою – прямую и крепкую фигуру, поступь быструю и решительную, острый и проницательный взгляд, лицо, на котором забота уже оставила морщины, – и слышу его скупую, сдержанную речь, его голос, помимо воли звучавший порою слишком жестко.

Я спрыгнул с почтовой лошади и поспешил в комнату отца. Он шагал из угла в угол в спокойном, глубоком раздумье, которого не мог нарушить даже мой приезд, хоть я и был у отца единственным сыном и мы не виделись четыре года. Я бросился ему на шею. Он был добрым, хотя и не очень нежным отцом, и в темных его глазах засверкали слезы; но лишь на одно мгновение.

– Дюбур пишет мне, что он доволен тобою, Фрэнк.

– Я счастлив, сэр...

– А у меня меньше оснований быть счастливым, – перебил отец и сел к письменному столу.

– Я сожалею, сэр...

– «Я сожалею», «я счастлив»... Эти слова, Фрэнк, в большинстве случаев значат мало или вовсе ничего. Вот твое последнее письмо.

Он достал его из пачки других писем, перевязанных красной тесьмой, с замысловатыми наклейками и пометками на полях. Здесь оно лежало, мое бедное письмо, написанное на тему, в то время самую близкую моему сердцу, изложенное в словах, которые, думал я, если не убедят то пробудят сочувствие, – и вот, говорю, оно лежало, затерянное среди других писем о всевозможных торговых операциях, в которые вовлекали отца его будничные дела. Я не могу удержаться от улыбки, вспоминая, как я с оскорбленным тщеславием и раненым самолюбием глядел на свое послание, сочинить которое стоило мне, смею вас уверить, немалого труда, – глядел, как его извлекают из кипы расписок, извещений и прочего обыденного, как мне казалось тогда,хлама коммерческой корреспонденции. «Несомненно, – подумал я, – такое важное письмо (я даже перед самим собой не осмелился добавить: «и так хорошо написанное») заслуживает особого места и большего внимания, чем обычные конторские бумаги».

Но отец не заметил моего недовольства, а если б и заметил, не посчитался бы с ним. Держа письмо в руке, он продолжал:

– Итак, Фрэнк, в своем письме от двадцать первого числа прошлого месяца ты извещаешь меня, – тут он стал читать письмо вслух, – что в таком важном деле, как выбор жизненного пути и занятий, я, по своей отцовской доброте, несомненно, предоставлю тебе если не право голоса, то хотя бы право отвода; что непреодолимые... да, так и написано: «непреодолимые» – я, кстати сказать, хотел бы, чтобы ты писал более разборчиво: ставил бы черточку над «т» и выводил петлю в «е», – непреодолимые препятствия не позволяют тебе принять предложенную мной программу. Это говорится и пересказывается на добрых четырех страницах, хотя при некоторой заботе о ясности и четкости слога можно бы уложиться в четыре строки. Ибо, Фрэнк, в конце концов все это сводится к одному: ты не хочешь следовать моему желанию.

– «Не хочу» – не то слово. При настоящих обстоятельствах, сэр, я не могу.

– Слова значат для меня очень немного, молодой человек, – сказал мой отец, в ком непреклонность всегда сочеталась с полным спокойствием и самообладанием. – «Не могу» – это, пожалуй, вежливей, чем «не хочу», но там, где нет налицо моральной невозможности,

эти два выражения для меня равнозначны. Впрочем, я не сторонник поспешных действий; мы обсудим это дело после обеда. Оуэн!

Явился Оуэн – не в серебряных своих сединах, которые вы некогда читали, ибо тогда ему было лет пятьдесят с небольшим, но одетый в тот же или в точности такой же костюм светло-коричневого сукна, в таких же жемчужно-серых шелковых чулках, в таких же башмаках с серебряными пряжками и в плиссированных батистовых манжетах, которые он в гостиную выпускал наружу, но в конторе старательно заправлял в рукава, чтобы не забрызгать чернилами, изводимыми им ежедневно в немалом количестве, – словом, Оуэн, старший клерк торгового дома «Осбалдистон и Трешем», важный, чопорный – и тем не менее благодушный, каким он оставался до самой своей смерти.

– Оуэн, – сказал отец, когда добрый старик горячо пожал мне руку, – вы сегодня отбедаете с нами и слушаете новости, которые Фрэнк привез нам из Бордо от наших друзей.

Оуэн с почтительной благодарностью отвесил церемонный поклон: в те дни, когда расстояние между высшими и низшими подчеркивалось с чуждой нашему времени резкостью, подобное приглашение означало немаловажную милость.

Памятным остался для меня этот обед. Глубоко встревоженный и даже несколько недовольный, я был не способен принять в разговоре живое участие, какого ждал от меня, по видимому, отец, и слишком часто отвечал неудачно на вопросы, которыми он меня осаждал. Оуэн, колеблясь между почтением к своему патрону и любовью к юноше, которого он когда-то качал на коленях, старался, подобно робкому, но преданному союзнику государства, подвергшегося нападению врага, найти оправдание каждому моему промаху и прикрыть мое отступление, но эти маневры только пуще раздражали отца и, не защищая меня, навлекали его досаду также и на доброго моего заступника. Проживая в доме Дюбура, я вел себя не совсем так, как тот конторщик, осужденный

Гневить и в вечности отцовский дух,  
Исписывая стансами гроссбух, –

но, сказать по правде, я посещал контору не чаще, чем это казалось мне необходимым, чтобы обеспечить себе хорошие отзывы со стороны француза, давнишнего корреспондента нашей фирмы, которому отец поручил посвятить меня в тайны коммерции. Главное свое внимание я уделял литературе и физическим упражнениям. Отец мой отнюдь не порицал стремлений к развитию как умственному, так и телесному. Человек трезвого ума, он не мог не видеть, что они служат каждому к украшению, и понимал, насколько они облагораживают нрав и способствуют приобретению доброго имени. Но он тешил свое честолюбие мечтою завещать мне не только свое состояние, но также планы и расчеты, которыми надеялся приумножить и увековечить оставляемое им богатое наследство.

Любовь к своему занятию была мотивом, который он считал наиболее удобным выдвигать, настойчиво призывая меня стать на избранный им путь; но были у него и другие причины, которые я узнал лишь позднее. Искусный и смелый, он был неукротим в своих замыслах, каждое новое предприятие в случае удачи давало толчок – а также и средства – к новым оборотам. Он, казалось, испытывал потребность, подобно честолюбивому завоевателю, идти от достижения к достижению, не останавливаясь для того, чтобы закрепить свои приобретения и – еще того менее – чтобы насладиться плодами побед. Постоянно бросая все свое состояние на весы случая, он всегда умело находил способ склонить их стрелку на свою сторону, и, казалось, его здоровье, решительность, энергия возрастали, когда он, воодушевленный опасностью, рисковал всем своим богатством; он был похож на моряка, привыкшего смело бросать вызов и волнам и врагам, потому что вера в себя возрастает у него накануне бури, накануне битвы. Однако он понимал, что годы или внезапная болезнь когда-нибудь

сокрушат его крепкий организм, и стремился заблаговременно подготовить в моем лице помощника, который сменит его у руля, когда его рука ослабеет, и поведет корабль согласно советам и наставлениям старого капитана. Итак, любовь к сыну и верность своим замыслам приводили его к одному и тому же решению. Ваш отец, хоть и вложил свой капитал в наш торговый дом, был, однако, как говорится у коммерсантов, «сонным компаньоном»; Оуэн, безусловно честный человек, превосходный знаток счетного дела, был неоценим в качестве старшего клерка, но ему не хватало знаний и способностей для проникновения в тайны общего руководства всеми предприятиями. Если бы смерть внезапно сразила моего отца, что случилось бы со всеми его многообразными начинаниями? Оставалось одно: вырастить сына Геркулесом коммерции, способным принять на плечи тяжесть, брошенную падающим Атлантом. А что случилось бы с самим сыном, если б он, новичок в такого рода делах, был вынужден пуститься в лабиринт торговых предприятий, не имея в руках путеводной нити знаний, необходимой, чтобы выбраться на волю? Вот по каким соображениям, высказанным и не высказанным, отец мой решил, что я должен избрать для себя его поле деятельности. А в своих решениях мой отец был непреклонен, как никто другой. Но следовало все-таки посоветоваться и со мною; я же с унаследованным от него упрямством принял как раз обратное решение.

Отпор, оказанный мною желаниям отца, можно, я надеюсь, извинить в какой-то мере тем, что я не совсем понимал, на чем они основаны и как сильно зависит от моего согласия все его счастье. Я воображал, что мне обеспечено большое наследство, а до поры до времени щедрое содержание; мне и в голову не приходило, что ради упрочения этих благ я должен буду сам трудиться и терпеть ограничения, противные моим вкусам и характеру. В стараниях моего отца сделать из меня коммерсанта я видел только стремление стяжать новые богатства в добавление к уже приобретенным. И, воображая, что мне лучше судить, какая дорога приведет меня к счастью, я не видел нужды приумножать капитал, и без того, по-моему, достаточный, и даже более чем достаточный, для удовлетворения всех потребностей, для удобной жизни и для изысканных увеселений.

Итак, повторяю: я проводил время в Бордо совсем не так, как хотелось бы моему отцу. Те занятия, которые он полагал главной целью моего пребывания в этом городе, я забрасывал ради всяких других, и, когда бы смел, я вовсе пренебрег бы ими. Дюбур, извлекавший для себя немало благ и пользы из сношений с нашим торговым домом, был слишком хитрым политиком, чтобы давать главе фирмы такие отзывы о его единственном сыне, какие возбудили бы недовольство и у меня и у отца; возможно также, как вы поймете из дальнейшего, что он имел в виду свою личную выгоду, потворствуя мне в пренебрежении теми целями, ради которых я был отдан на его попечение. Я держался в границах приличия и добропорядочности, так что до сих пор он не имел оснований давать обо мне дурные отзывы, если б даже был к тому расположен; но поддайся я и худшим наклонностям, чем нерадивость в торговом деле, лукавый француз проявил бы, вероятно, ту же снисходительность. Теперь же, поскольку я уделял немало времени любезным его сердцу коммерческим наукам, он спокойно смотрел, как часы досуга я посвящаю совершенствованию в другой, более классической области, и не попрекал меня тем, что я зачитываюсь Корнелем или Буало, предпочитая их Постлтъвейту (вообразим, что его объемистый труд в то время уже существовал и что Дюбур умел произносить это имя), и Савари, и всякому другому автору трудов по коммерции. Он позаимствовал откуда-то удобную формулу и каждое письмо обо мне заканчивал словами, что я «в точности таков, каким желательно отцу видеть своего сына».

Как бы часто она ни повторялась, отца моего никогда не раздражала фраза, если казалась ему четкой и выразительной; и сам Аддисон не нашел бы выражений, более для него приемлемых, чем слова: «Письмо ваше получено, прилагаемая расписка заприходована».

И вот, так как мистер Осбалдистон превосходно знал, к чему меня готовит, излюбленная фраза Дюбура не пробуждала в нем сомнений, таков ли я на деле, каким он желал бы меня видеть, — когда в недобрый час он получил мое письмо с красноречивым и подробным обоснованием моего отказа от почетного места в торговом доме, от конторки и табурета в углу темной комнаты на Журавлиной улице — табурета, превосходящего высотой табуреты Оуэна и прочих клерков и уступающего только треножнику моего отца. С этой минуты все разладилось. Отчеты Дюбура стали казаться такими подозрительными, точно его векселя подлежали опротестованию. Я был срочно отозван домой и встретил прием, уже описанный мною.

## Глава II

*Я в своей прозорливости начинаю подозревать молодого человека в страшном пороке – Поэзии; и если он действительно заражен этой болезнью лентяев, то для государственной карьеры он безнадежен. Коль скоро он предался рифмоплетству, на нем как на полезном члене общества нужно поставить крест – actum est.<sup>26</sup>*  
**Бен Джонсон, «Варфоломеевская ярмарка»**

Мой отец, вообще говоря, умел владеть собой в совершенстве и редко давал своему гневу излиться в словах, выдавая его лишь сухим и резким обхождением с теми, кто вызвал его недовольство. Никогда не прибегал он к угрозам или шумному выражению досады. Все у него подчинено было системе, и он в каждом частном случае придерживался правила: «делать, что нужно, не тратя лишних слов». Так и на этот раз с язвительной улыбкой выслушал он мои сбивчивые ответы о состоянии французской торговли и безжалостно позволял мне углубляться все дальше и дальше в тайны тарифов, нетто, брутто, лажей, скидок и надбавок; но, насколько я помню, ни разу в его глазах не отразилась прямая досада, пока не обнаружилось, что я не могу толково объяснить, какое действие оказало обесценение золотого луидора на кредитное обращение. «Самое замечательное историческое событие за всю мою жизнь, – сказал отец (который как-никак был свидетелем революции!), – а он знает о нем не больше, чем фонарный столб на набережной!»

– Мистер Фрэнсис, – осмелился сказать Оуэн робким и примирительным тоном, – вероятно, не забыл, что мораторием от первого мая тысяча семисотого года французский король предоставил держателям десять льготных дней, по истечении коих...

– Мистер Фрэнсис, – прервал его мой отец, – несомненно, тотчас же припомнит все, что вы будете любезны подсказать ему. Но, Боже мой, как мог Дюбур это допустить!.. Скажите, Оуэн, что представляет собой его племянник, Клеман Дюбур, этот черноволосый юноша, работающий у нас в конторе?

– Один из самых толковых клерков нашего торгового дома, сэр. Для своих лет он удивительно много успел, – ответил Оуэн (веселый нрав и обходительность молодого француза покорили его сердце).

– Так, так! Он-то, я полагаю, кое-что смыслит в законах кредитного обращения. Дюбур решил, что мне нужно иметь около себя хоть одного конторщика, который разбирался бы в делах. Но я вижу, куда он гнет, и дам ему убедиться в этом, когда он просмотрит баланс. Оуэн, распорядитесь выплатить Клеману его жалованье по первое число, и пусть отправляется назад в Бордо на корабле своего отца, что отходит на днях.

– Рассчитать Клемана Дюбура, сэр? – проговорил, запинаясь, Оуэн.

– Да, сэр, рассчитать его немедленно. Довольно, если есть в конторе один глупый англичанин, который будет делать промахи; мы не можем держать в придачу ловкого француза, который будет извлекать выгоду из этих промахов.

Достаточно пожив во владениях Grand Monarque,<sup>27</sup> я не мог без возражений допустить, чтобы ни в чем не повинный и достойный юноша расплачивался за то, что он приобрел познания, которых отец желал для меня.

– Прошу извинения, сэр, – начал я, дав мистеру Осбалдистону договорить, – но я почел бы справедливым, если я пренебрегал занятиями, самому нести за то расплату; у меня

---

<sup>26</sup> Здесь в смысле: кончено (лат.).

<sup>27</sup> Великого монарха (франц.) – то есть французского короля Людовика XIV.

нет оснований винить господина Дюбура – он предоставлял мне все возможности совершенствоваться, но я недостаточно пользовался ими. В отношении же господина Клемана Дюбура...

– В отношении его и тебя я приму те меры, какие найду нужным, – отрезал мой отец. – Но ты честно поступаешь, Фрэнк, что сам хочешь нести наказание за свою вину, вполне честно, этого нельзя отрицать. Однако я не могу оправдать старика Дюбура, – продолжал он, глядя на Оуэна, – если он только предоставлял Фрэнку возможность приобретать полезные знания, не следя, чтобы юноша этой возможностью пользовался, и не доводя до моего сведения, когда он ею пренебрегал. Вы видите, Оуэн, у моего сына врожденные понятия о справедливости, приличествующие британскому купцу.

– Мистер Фрэнсис, – сказал старший клерк, как всегда учтиво наклоняя голову и приподнимая правую руку – жест, усвоенный им вместе с привычкой закладывать перо за ухо, перед тем как заговорить, – мистер Фрэнсис, по-видимому, вполне постиг основной принцип всех моральных взаимоотношений, великое тройное правило этики: пусть А поступает с Б так, как хотел бы, чтобы Б поступал с ним; отсюда легко вывести искомую формулу поведения.

Отец мой улыбнулся при этой попытке Оуэна облечь золотое правило этики в математическую форму, однако тотчас продолжал:

– Но это не меняет сути, Фрэнк; ты, как мальчик, впустую тратишь время; в будущем ты должен научиться жить как взрослый. На несколько месяцев я отдам тебя в учение к Оуэну, чтобы ты наверстал упущенное.

Я собрался возразить, но Оуэн сделал жест предостережения и поглядел на меня с такой мольбой, что я помимо воли промолчал.

– Вернемся, – продолжал отец, – к содержанию моего письма от первого числа прошлого месяца, на которое ты послал мне необдуманно и невразумительный ответ. Наполни, Фрэнк, свой стакан и подвинь бутылку Оуэну.

Меня никогда нельзя было обвинить в недостатке храбрости или, если вам угодно, дерзости. Я ответил твердо, что «сожалею, если мое письмо оказалось невразумительным, – необдуманным его назвать нельзя; предложение, великодушно сделанное мне отцом, я подверг немедленному и тщательному рассмотрению и с болью убедился, что вынужден его отклонить».

Отец остановил на мне острый взгляд, но тотчас же его отвел. Так как он не отвечал, я почел себя обязанным продолжать, хоть и не без колебания; он же перебивал меня лишь односложными замечаниями.

– Ни к одному роду деятельности, сэр, я не мог бы относиться с большим уважением, чем к деятельности купца, даже если бы вы не избрали ее для себя.

– Вот как?

– Торговля сближает между собою народы, облегчает нужду и способствует всеобщему обогащению; для всего цивилизованного мира она то же, что в частной жизни повседневные сношения между людьми, или, если угодно, то же, что воздух и пища для нашего тела.

– Ну и что же, сэр?

– И все-таки, сэр, я вынужден настаивать на отказе от этого поприща, на котором я едва ли способен преуспеть.

– Я позабочусь, чтобы ты приобрел все данные. Ты больше не гость и ученик Дюбура.

– Но, дорогой сэр, я жалею не на дурное обучение, а на собственную мою неспособность извлечь из уроков пользу.

– Вздор! Ты вел дневник, как я того желал?

– Да, сэр.

– Будь любезен принести его сюда.



Вытребованный таким образом дневник представлял собой обыкновенную тетрадь, которую я завел по настоянию отца и куда мне полагалось записывать всевозможные сведения, приобретаемые мною во время обучения. Предвидя, что отец возьмет тетрадь для просмотра, я старался вносить в нее такого рода сведения, какие он, по моему разумению, должен был одобрить; но слишком часто перо мое делало свое дело, не очень-то слушаясь головы. И случалось также, что я, раскрыв дневник, благо он у меня всегда под рукой, нет-нет да и внесу в него запись, имеющую мало общего с торговым делом. И вот я вручил тетрадь отцу, робко надеясь, что он не натолкнется в ней на что-нибудь такое, от чего могло усиливаться его недовольство. Лицо Оуэна, несколько омрачившееся при вопросе отца, сразу прояснилось при бойком моем ответе и расцвело улыбкой надежды, когда я принес из своей комнаты и положил перед отцом книгу конторского типа, в ширину больше, чем в длину, с медными застежками и в переплете из сыромятной телячьей кожи. От книги повеяло чем-то деловым, и это совсем приободрило моего доброжелателя. Он просто сиял от удовольствия, когда отец стал на выборку читать вслух отдельные страницы, бормоча свои критические замечания.

– «Водки – бочками и бочонками (barils, barricants, также tonneaux). В Нанте – 29; Velles – маленькими бочонками, в Коньяке и Ла-Рошели – 27, в Бордо – 32». Правильно, Фрэнк. «Грузовые и таможенные сборы – смотри в таблицах Саксби». А вот это нехорошо: следовало сделать выписку, так оно лучше запоминается. «Ввоз и вывоз.

– Расписки на закупленный хлеб. – Таможенные сертификаты. – Полотно: изингамское, гентское. – Вяленая треска – ее разновидности: титлинг, кроплинг и лабфиш». Следовало бы отметить, что они иногда именуются все словом «титлинг». Сколько дюймов в длину имеет титлинг?

Оуэн, видя мое замешательство, рискнул подсказать мне шепотом, и я, на свое счастье, уловил подсказку.

– Восемнадцать дюймов, сэр...

– Так. А лабфиш – двадцать четыре. Очень хорошо. Это важно запомнить на случай торговли с Португалией. А это что такое? «Бордо основан в... таком-то году... Замок Тромпет – дворец Галлиена». Ничего, ничего – все в порядке. Это ведь своего рода черновая тетрадь, Оуэн, в которую заносится без разбору все, с чем пришлось столкнуться за день: погашения, заказы, выплаты, переводы, получки, планы, поручения, советы – все подряд.

– Чтобы затем аккуратно разнести по журналу и главной книге, – подхватил Оуэн. – Меня радует, что мистер Фрэнсис так методичен.

Я увидел, что быстро завоевываю расположение отца, и стал опасаться, как бы он теперь не утвердился еще более в своем намерении сделать из меня купца; а так как сам я задумал нечто прямо противоположное, я пожалел, выражаясь словами доброго мистера Оуэна, о своей излишней методичности. Но мои опасения оказались преждевременными. Из книги выпал на пол листок бумаги, покрытый кляксами. Отец его поднял и, прервав Оуэна на замечании, что оторвавшиеся листки следует подклеивать хлебным мякишем, провозгласил:

– «Памяти Эдварда, Черного принца». Что такое? Стихи! Видит небо, Фрэнк, ты еще больший болван, чем я полагал!

Мой отец, надо вам сказать, как человек деловой, с презрением смотрел на труд поэта и, как человек религиозный да еще убежденный диссидент, почитал стихотворство занятием пустым и нечестивым. Прежде чем осудить за это моего отца, вы должны припомнить, какую жизнь вели очень многие поэты конца семнадцатого столетия и на что обращали они свои таланты. К тому же секта, к которой он принадлежал, питала – или, может быть, только проповедовала – пуританское отвращение к легкомысленным жанрам изящной словесности. Так что было много причин, усиливших неприятное удивление отца при столь несвоевременной находке этого злополучного листка со стихами. А что до бедного Оуэна... Если бы

локоны на его парике могли распрямиться и встать дыбом от ужаса, я уверен, что утренние труды его парикмахера пропали бы даром, – так ошеломлен был мой бедный добряк чудовищным открытием. Взлом несгораемого шкафа, или замеченная в грессбухе подчистка, или неверный итог в подшитом документе едва ли могли его поразить более неприятным образом. Отец мой стал читать строки, то делая вид, что ему трудно уловить их смысл, то прибегая к ложному пафосу, но сохраняя все время язвительно-иронический тон, больно задевавший самолюбие автора:

Звени, мой рог! Еще идет потеха...  
Не так ли потревоженное эхо  
Фонтаравийских диких скал  
Повергло Карла в бездну скорби гневной,  
Когда в Иберии полдневной  
Роланд, сраженный, пал!

– «Фонтаравийское эхо»! – продолжал отец, сам себя прерывая. – «Фонтаравийская ярмарка» была бы здесь более уместна. «Когда в Иберии полдневной...» Что за Иберия такая? Не мог ты просто сказать: «в Испании», – и писать по-английски, если тебе уж непременно нужно городить чепуху?

Гремя над гребнями волны соленой,  
Летит, летит к утесам Альбиона  
Молва: Британии оплот,  
Гроза французов, тот, чей реял стяг  
Над Пуатье, над Креси, – ах,  
В Бордо от ран умрет!

«Креси» имеет ударение неизменно на втором слоге; не вижу оснований ради размера исказить слова.

«Откройте шире, – молвит он, – оконце:  
Хочу в последний раз увидеть солнце,  
О сквайры добрые мои!  
Хочу увидеть в зареве заката  
Гаронны, пламенем объятый,  
Зеркальные струи...»

«Оконце» явно притянута для рифмы. Так-то, Фрэнк, ты мало смыслишь даже в таком жалком ремесле, которое избрал для себя.

«Как я, ты гаснешь, солнце золотое,  
И плачет вечер о тебе росой.  
Из глаз английских дев и жен  
Так будут литься слезы непокорно:  
Погиб Эдвард, их рыцарь Черный,  
Рукой врага сражен!  
Моя, как солнце, закатилась слава.  
Но знаю, будет: в час борьбы кровавой,  
Воспев погибшего меня,

Взойдет Британии герой могучий  
Звездой новою сквозь тучи  
И крови и огня».

«Туча огня» – это что-то новое. А! С добрым утром, уважаемые, всем вам веселого Рождества! Право, наш городской глашатай сочиняет вирши получше.

С видом предельного пренебрежения он отбросил листок и в заключение повторил:

– По чести скажу, Фрэнк, ты еще больший болван, чем я думал сперва.

Что мог я ответить, дорогой мой Трешем? Я стоял обиженный и негодующий, в то время как мой отец глядел на меня спокойным, но строгим взором презрения и жалости; а бедный Оуэн поднял к небу руки и глаза, и на лице его застыл такой ужас, словно бедняга прочитал только что имя своего патрона в «Газете». Наконец я набрался храбрости и заговорил, стараясь по мере возможности не выдать голосом владевших мною чувств:

– Я вполне сознаю, сэр, как мало я пригоден к исполнению той видной роли в обществе, которую вы мне прочили; но, к счастью, я не честолюбив и не лщусь на богатства, какие мог бы приобрести. Мистер Оуэн будет вам более полезным помощником.

Последние слова я добавил не без лукавого умысла, так как полагал, что Оуэн слишком быстро от меня отступился.

– Оуэн? – сказал мой отец. – Мальчишка рехнулся, решительно сошел с ума! Разрешите, однако, сэр, задать вам вопрос: столь хладнокровно рекомендуя мне обратиться к Оуэну (я, впрочем, от кого угодно могу ждать больше внимания, чем от родного сына), какие мудрые планы строите вы для самого себя?

– Я хотел бы, сэр, – отвечал я, призвав все свое мужество, – на два-три года отправиться в путешествие, если будет на то ваше соизволение; в противном случае хоть и с опозданием, но я охотно провел бы то же время в Оксфорде или Кембридже.

– Во имя здравого смысла! Где это слыхано? Сесть на школьную скамью с педантами и якобитами, когда ты можешь пробивать себе дорогу к богатству и почету! Коли на то пошло, почему тебе сразу не отправиться в Уэстминстер или Итон – долбить грамматику по учебнику Лилли и отведать березовой каши?

– Тогда, сэр, если вы полагаете, что учиться мне поздно, я охотно вернулся бы на континент.

– Вы и так провели там слишком много времени с очень малой пользой, мистер Фрэнк.

– Хорошо, сэр. Если я должен выбирать практическую деятельность в жизни, я предпочел бы пойти в армию.

– Хоть к дьяволу! – вырвалось у отца. Но затем, совладав с собою, он сказал: – Ты, я вижу, считаешь меня таким же дураком, как ты сам. Ну разве не может он кого угодно свести с ума, Оуэн?

Бедняга Оуэн покачал головой и потупил глаза.

– Слушай, Фрэнк, – продолжал отец, – долго я с этим возиться не стану. Я был как раз в твоём возрасте, когда мой отец выставил меня за дверь и передал мое законное наследство моему младшему брату. Верхом на дряхлом гунтере, с десятью гинеями в кошельке я оставил Осбалдистон-холл. С тех пор я ни разу не переступил его порога – и не переступлю. Не знаю и не желаю знать, жив ли еще мой брат или свернул шею на лисьей охоте; но у него есть дети, Фрэнк, и один из них станет моим сыном, если ты и дальше будешь мне перечить.

– Расповайтесь вашим имуществом так, как вам будет угодно, – ответил я, и, боюсь, в моем голосе прозвучало больше угрюмого равнодушия, чем почтительности.

– Да, Фрэнк, если труд приобретения и забота об умножении приобретенного дают право собственности, мое имущество – действительно мое: мною приобретено и мною при-

умножено в неустанных трудах и заботах! И я не позволю трутню кормиться от моих сотов. Подумай об этом хорошенько: то, что я сказал, сказано не наобум, и то, что решу, я исполню.

– Почтенный сэр, дорогой сэр! – воскликнул Оуэн, и слезы выступили у него на глазах. – Не в вашем обычае поступать опрометчиво в важных делах. Дайте мистеру Фрэнсису просмотреть баланс перед тем, как вы ему закроете счет, – он, я уверен, любит вас, и когда он запишет свое сыновнее повиновение на *per contra*, оно, я уверен, перевесит все его возражения.

– Вы полагаете, – сурово сказал мой отец, – что я буду дважды просить его сделаться моим другом, моим помощником и поверенным, разделить со мною мои заботы и мое достоинство? Оуэн, я думаю, вы меня знаете лучше!

Он посмотрел на меня, как будто хотел что-то добавить, но тотчас же резко отвернулся и вышел из комнаты. Меня, признаться, задело за живое последние слова отца: ведь до сих пор мне не приходило в голову взглянуть на дело под таким углом, и, возможно, отцу не пришлось бы жаловаться на меня, начни он спор с этого довода.

Но было поздно. Я унаследовал то же упорство в своих решениях, и мне суждено было понести кару за свое ослушание, – хотя, может быть, и не в той мере, как я того заслуживал. Когда мы остались вдвоем, Оуэн долго глядел на меня грустным взором, время от времени застилавшимся слезой, словно высматривая, перед тем как выступить в роли посредника, с какой стороны легче повести атаку на мое упрямство. Наконец прерывающимся голосом он сокрушенно начал:

– О Боже! Мистер Фрэнсис!.. Праведное небо, сэр!.. Звезды небесные, мистер Осбалдистон!.. Неужели я дожил до такого дня? И вы еще совсем молодой джентльмен, сэр! Ради Господа Бога, взгляните на обе стороны баланса. Подумайте, что вы готовы потерять – такое прекрасное состояние, сэр!.. Наш торговый дом был одним из первых в Лондоне, еще когда фирма называлась «Трешем и Трент»; а теперь, когда она зовется «Осбалдистон и Трешем»... Вы могли бы купаться в золоте, мистер Фрэнсис. Знаете, дорогой мистер Фрэнк, если бы какая-нибудь сторона дела пришлась вам особенно не по душе, я мог бы, – тут он понизил голос до шепота, – приводить ее для вас в порядок каждый месяц, каждую неделю, каждый день, если вам угодно. Не забывайте, дорогой мистер Фрэнсис: вы должны чтить вашего отца, и тогда продлятся дни ваши на земле.

– Я вам очень признателен, мистер Оуэн, – сказал я, – в самом деле очень признателен. Но моему отцу лучше судить, как ему распорядиться своими деньгами. Он говорит об одном из моих двоюродных братьев. Пусть располагает своим богатством, как ему угодно; я никогда не променяю свободу на золото.

– На золото, сэр? Если бы вы только видели сальдо нашего баланса за последний месяц! Пятизначные цифры – сумма в десятки тысяч на долю каждого компаньона, мистер Фрэнк! И все достанется паписту, какому-то мальчишке из Нортумберленда, да к тому же бунтовщику... Это разобьет мне сердце, мистер Фрэнсис! А ведь я работал не как человек – как пес, из любви к нашему торговому дому. Подумайте, как прекрасно звучало бы: «Осбалдистон, Трешем и Осбалдистон» или, может быть – кто знает? – тут он понизил голос: – «Осбалдистон, Осбалдистон и Трешем», ведь мистер Осбалдистон может откупить у них хоть все паи.

– Но, мистер Оуэн, мой двоюродный брат тоже носит имя Осбалдистонов, так что название торгового дома будет так же приятно звучать для вашего слуха.

– Ох, стыдно вам, мистер Фрэнсис! Вам ли не знать, как я вас люблю! Ваш двоюродный брат! Уж и скажете! Он, без сомнения, такой же папист, как и его отец, и к тому же противник нашего протестантского королевского дома, – это совсем другая статья!

– Есть немало хороших людей и среди католиков, мистер Оуэн, – возразил я.

Оуэн только собрался ответить с необычным для него жаром, как в комнату снова вошел мой отец.

– Вы были правы, Оуэн, – сказал он, – а я не прав: отложим решение на более длительный срок. Молодой человек, приготовьтесь дать мне ответ по этому важному предмету через месяц, число в число.

Я молча поклонился, весьма обрадованный отсрочкой, пробудившей во мне надежду, что отец поколеблен в своем упорстве.

Испытательный срок протекал медленно, без особых событий. Я уходил и приходил и вообще располагал своим временем, как мне было угодно, не вызывая со стороны отца ни нареканий, ни вопросов. Я даже редко видел его – только за обедом, когда он старательно обходил предмет, обсуждение которого сам я, как вы легко поймете, отнюдь не старался приблизить. Мы вели беседу о последних новостях или на общие темы – как разговаривают далекие друг другу люди; по нашему тону никто не распознал бы, что между нами оставался неразрешенным столь важный спор. Предо мной, однако, не раз возникало, как кошмар, тяжелое сомнение: возможно ли, что отец сдержит слово и наследство своего единственного сына передаст племяннику, в существовании которого он даже не был уверен? Трезво взглянув на дело, я должен был бы понять, что поведение моего деда в подобном же случае не предвещало ничего доброго. Но я составил себе ложное понятие о характере моего отца, помня, какое место занимал я в его сердце и в его доме до отъезда во Францию. Я не знал тогда, что иной отец балует своих детей в их раннем возрасте, потому что для него это занято и забавно, но может впоследствии оказаться очень суровым, когда эти дети в более зрелую пору не оправдают возлагавшихся на них надежд. Напротив, я убеждал самого себя, что самое страшное, чего я должен опасаться, – это временного охлаждения ко мне с его стороны, может быть, даже ссылки на несколько недель в деревенскую глушь, а такое наказание, думал я, будет мне только приятно: оно мне даст возможность довести до конца начатый мною перевод «*Orlando Furioso*»<sup>28</sup> – поэмы, которую я мечтал перевести в стихах на английский язык. Я так свыкся с этой уверенностью, что в одно прекрасное утро достал свои черновики и углубился в поиски повторных рифм спенсеровой строфы, как вдруг услышал негромкий и осторожный стук в дверь моей комнаты.

– Войдите, – сказал я и увидел мистера Оуэна.

Достойный человек был так педантичен во всех своих привычках и поступках, что, вероятно, впервые поднялся сейчас на второй этаж дома своего патрона, как ни часто посещал он нижний; и я до сих пор не могу понять, как он нашел мою дверь.

– Мистер Фрэнсис, – сказал он, перебивая мои излияния радости и удивления, – не знаю, хорошо ли я делаю, что прихожу к вам со своим сообщением: не годится болтать о делах конторы за ее дверьми; говорят, что нельзя шепнуть даже стропилам пакгауза, сколько записей внесено в гроссбух. Но скажу вам: молодой Твайнол уезжал из дому на две недели и только два дня как вернулся.

– Прекрасно, дорогой сэр! А нам-то какое дело?

– Пойдите, мистер Фрэнсис. Ваш отец дал ему секретное поручение, и я уверен, что ездил он не в Фальмут для закупки сельдей и не в Экзистер, потому что с «Блэкуэлом и Компанией» счета у нас улажены; корнваллийские горнопромышленники Тривэньон и Трегуильям выплатили все, на что можно было рассчитывать, и все другие дела также должны были бы пройти сперва через мои книги... Короче сказать, я убежден, что Твайнол ездил на север.

– Вы в самом деле так думаете? – сказал я с некоторым смущением.

– С самого своего приезда, сэр, он только и говорит что о своих новых сапогах, о риппонских шпорах да о петушином бое в Йорке – это верно, как таблица умножения. Итак, с Божьего благословения, дитя мое, постарайтесь угодить вашему отцу и решите, что вам пора стать взрослым человеком, и притом купцом.

---

<sup>28</sup> «Неистового Роланда» (итал.).

В ту минуту я почувствовал сильное желание покориться и охотно осчастливил бы Оуэна поручением сообщить отцу, что я повинуюсь его воле. Но гордость – источник столько хороших и дурных деяний в нашей жизни, – гордость удержала меня. Слова примирения застряли у меня в горле, и пока я откашливался, стараясь вытолкнуть их оттуда, мой отец позвал Оуэна. Тот поспешно вышел из комнаты, и случай был упущен.

Отец мой отличался во всем методичностью. В то же время дня, в той же комнате, тем же тоном и в тех же выражениях, к каким прибег он ровно месяц тому назад, он повторил свое предложение принять меня компаньоном в свой торговый дом и отдать под мое начало одно из отделений конторы, повторил и потребовал моего окончательного ответа. Что-то слишком жесткое послышалось мне в его словах. Я до сих пор думаю, что отец повел себя со мной неразумно. При некоторой уступчивости он, по всей вероятности, достиг бы цели. Но тут я уперся на своем и как мог почтительней отклонил сделанное мне предложение. Возможно – кому судить о движениях собственного сердца? – я счел унижительным для моего мужского достоинства уступить по первому требованию и ждал дальнейших уговоров, чтобы иметь по крайней мере предлог для отказа от своего решения. Но меня ждало разочарование. Отец холодно повернулся к Оуэну и сказал только:

– Видите, вышло, как я говорил. Отлично, Фрэнк, – обратился он ко мне, – ты почти достиг совершенных лет и вряд ли с годами научишься лучше судить о том, что надобно тебе для счастья, чем судишь сейчас. Итак, не стану с тобою спорить. Но я так же не обязан способствовать твоим планам, как не обязан ты подчиняться моим. Разрешите мне, однако, спросить, есть у тебя какой-либо план, для осуществления которого нужна моя поддержка?

Сильно смущенный, я ответил, что, не будучи подготовлен воспитанием ни к какому занятию и не имея собственных средств, я, очевидно, лишен возможности существовать без некоторой денежной помощи со стороны отца; что потребности мои очень скромны и что, я надеюсь, мое отвращение к занятию, избранному им для меня, не послужит для него основанием окончательно лишить меня отцовской помощи и покровительства.

– Иными словами, ты хочешь опереться на мою руку и все-таки идти своим путем? Вряд ли это осуществимо, Фрэнк. Однако ты, как я понимаю, готов подчиняться моим указаниям в той мере, в какой они не будут идти вразрез с твоими пожеланиями?

Я приготовился возразить, но он меня остановил:

– Нет, прошу тебя, помолчи, – и продолжал: – Предположим, что так. В таком случае ты тотчас отправишься на север Англии, наведишь твоего дядю и познакомишься с его семьей. Я избрал из его сыновей (у него их, кажется, шестеро) одного, который, думается мне, наиболее достоин занять в моей конторе место, предназначавшееся мною для тебя. Но дальше может возникнуть необходимость в некоторых дополнительных мерах, для чего понадобится, наверно, твое присутствие. Дальнейшие мои указания ты получишь в Осбалдистон-холле, где я прошу тебя остаться впредь до новых распоряжений. Завтра утром все будет готово к твоему отъезду.

С этими словами отец вышел из комнаты.

– Что все это значит, мистер Оуэн? – обратился я к своему доброму другу, который стоял предо мною в глубоком унынии.

– Вы погубили себя, мистер Фрэнк, вот что: когда ваш отец говорит таким спокойным, решительным тоном, значит, ничего не изменишь, итог подведен.

Так и оказалось. Наутро, в пять часов, я уже ехал по дороге в Йорк верхом на довольно приличной лошади, с пятьюдесятью гинеями в кармане, ехал, как мне казалось, с целью помочь другому занять мое место в доме и в сердце моего отца и, насколько я понимал, отнять у меня при случае отцовское наследство.

## Глава III

*Забился парус, бот креня,  
Руль сорван, стонут русленя,  
И весла сломаны висят, –  
Корабль несется наугад.*

### *Гей, «Басни»*

Я оснастил рифмованными и белыми стихами разделы этой столь значительной повести с целью прельстить ваше неотступное внимание силой сочинительского дара, более пленительного, чем мой. Вышеприведенные строки относятся к злополучному пловцу, самонадеянно спустившему с причала лодку, которой он не мог управлять, и отдавшемуся на волю течения судоходной реки. Никакой школьник, отважившийся ради озорства на ту же опрометчивую проделку, уносимый течением, не мог бы чувствовать себя более беспомощным, чем оказался я, когда пустился без компаса по океану жизни. С такой неожиданной легкостью разрубил мой отец ту связь, которая считается обычно основной, скрепляющей общество, и позволил мне уехать изгнанником из родного дома, что вера моя в собственные достоинства, дававшая мне до сих пор поддержку, теперь странно ослабела. Принц-красавчик, вдруг обратившийся из принца в сына рыбака, не мог больнее чувствовать унижение. В слепом себялюбии мы привыкаем считать все те дары, которыми балует нас жизненное благополучие, чем-то постоянным и неотъемлемо нам присущим, а после, как только, предоставленные собственным силам, мы увидим, как мало мы стоим, это открытие кажется нам невыразимо обидным. Когда шум Лондона замолк в моих ушах, отдаленный звон его колоколов еще не раз прозвучал мне вещим «Вернись», – как некогда услышал это слово будущий лорд-мэр. И когда я оглянулся с вершины Хайгетского холма на сумрачное величие Лондона, у меня возникло чувство, точно я оставляю позади удобства, роскошь, соблазны света и все удовольствия цивилизованной жизни.

Но жребий был брошен. В самом деле, представлялось маловероятным, чтобы вялое и неохотное повиновение воле отца могло восстановить меня в утраченных правах. Напротив, такого твердого человека, как он, всегда неотступно идущего к намеченной цели, скорее отвратило бы, чем примирило, мое запоздалое, вынужденное согласие подчиниться его воле и заняться торговлей. Пришло на помощь и врожденное упрямство, а гордость нашептывала, что я буду жалок, если прогулка на четыре мили от Лондона развеет по ветру решение, которое я вынашивал целый месяц. К тому же и надежда, никогда не оставляющая юного и стойкого, приукрасила своим блеском мои виды на будущее. Вряд ли, думал я, отец все-речь намерен лишить меня наследства, как он, не колеблясь, объявил. Своим приговором он, наверно, хочет только испытать мою стойкость; если я терпеливо и твердо выдержу испытание, это возвысит меня в его глазах и приведет к полюбовному разрешению спора. Я даже мысленно намечал, как далеко пойду я в уступках и в каких пунктах нашего предполагаемого договора буду твердо стоять на своем; после чего, по моим расчетам, я буду вполне восстановлен в сыновних правах и только уплачу легкий штраф в виде некоторого показного покаяния в проявленной непокорности.

А пока что я был сам себе господин и упивался тем чувством независимости, которое волнует молодую грудь и радостью и опасениями. Кошелек мой, хоть и не туго набитый, позволял мне удовлетворять все нужды и прихоти путешественника. Живя в Бордо, я при-

учился обходиться без слуги; мой конь был молод и ретив; и вскоре присущая мне бодрость духа взяла верх над печальными помыслами, владевшими мною в начале пути.

Я был бы рад совершить свое путешествие по дороге, рассчитанной доставить больше пищи любопытству, или по местности, более занимательной для путешественника. Но северная дорога была тогда – да, пожалуй, осталась и теперь – в этом отношении удивительно скудной: вряд ли где-нибудь еще можно проехать по Англии столь длинный конец и встретить по пути так мало такого, что привлекло бы внимание. Хотя я и отбросил прежнее уныние, мысли мои были не всегда одинаково радостны. Муза, игривая обольстительница, завлекшая меня в эту глушь, тоже с чисто женским непостоянством покинула меня в беде, и я был бы обречен на безысходную скуку, когда бы не вступал по временам в разговоры с незнакомцами, которым случалось проезжать той же дорогой. Однако в попутчики мне попадались люди заурядные и малопримечательные; деревенский пастор, добирающийся домой по отправлении требы; фермер или скотовод, возвращающийся с далекого рынка; какой-нибудь приказчик, посланный своим хозяином в провинцию взыскать долги, да изредка офицер, отправленный на вербовку солдат, – вот с какими людьми приходилось в ту пору иметь дело стражникам у застав и кабатчикам. Беседы наши, стало быть, шли о вере и церковной десятинах, о скоте и хлебе, о самых различных продуктах и товарах, о платежеспособности розничных торговцев, изредка лишь оживляясь описанием какой-нибудь осады или битвы во Фландрии, передаваемым мне рассказчиком с чужих слов. А когда разговор иссякал, являлась на смену неистощимая и волнующая тема о разбойниках; имена Золотого Фермера, Летучего Пирата, Джека Нидхема и прочих героев «Оперы нищих» звучали в наших устах, точно самые обиходные слова. И, как дети жмутся к очагу, когда близится самое страшное место рассказа о привидениях, так всадники при этих разговорах старались держаться ближе друг к другу, поглядывали по сторонам, оглядывались, проверяли замки своих пистолетов и клялись не оставлять друг друга в беде – соглашения, которые, подобно многим наступательно-оборонительным союзам, нередко изглаживались из памяти при первом появлении действительной опасности.

Из всех попутчиков, одержимых такого рода страхами, больше всех потешал меня один несчастный, с которым я ехал вместе полтора суток. К седлу его был привязан маленький, но, видимо, очень увесистый чемодан, о сохранности которого он чрезвычайно заботился, ни на минуту не доверяя его чужому попечению и неукоснительно отклоняя услужливое рвение слуг и конюхов, предлагавших помочь ему внести поклажу в дом. С той же осторожностью старался он скрыть не только цель своего путешествия и место назначения, но даже свой маршрут на каждый день. Ничто его так не тревожило, как заданный кем-либо вопрос, в какую сторону поедет он дальше и где собирается сделать привал. С величайшей осмотрительностью выбирал он место ночлега, равно избегая одиночества и того, что казалось ему дурным соседством; в Грэнтеме он, кажется мне, просидел всю ночь, лишь бы не спать в смежной комнате с приземистым косоглазым человечком в черном парике и выцветшем, расшитом золотым позументом камзоле. При всех этих гнетущих заботах попутчик мой, судя по его мышцам, больше многих других мог бы безнаказанно пренебрегать опасностью. Он был сильный, рослый человек и, как показывали золотой позумент на шляпе и кокарда, служил когда-то в армии или, во всяком случае, принадлежал к военному сословию. Речь его, всегда несколько грубоватая, обличала человека рассудительного, когда удавалось на минуту отвлечь его от мысли о грозных разбойниках, преследовавшей его воображение. Однако каждая мелочь тотчас вновь напоминала о них. Открытая равнина и дремучий лес одинаково тревожили его подозрительность, а посвист мальчишки-пастуха мгновенно превращался в сигнал грабителя. Даже вид виселицы, указывая, что с одним разбойником правосудие благополучно расправилось, неизменно напоминал ему, как много их оставалось еще не повешенными.



Мне скоро наскучило бы общество такого попутчика, если бы не надоели еще больше мои собственные мысли. Однако некоторые из рассказанных им удивительных историй были довольно заняты, а одно смешное проявление его чудачества не раз доставляло мне случай позабавиться на его счет. По его рассказам, несчастные путники, попавшие в руки воров, часто сами навлекали на себя беду, связавшись в дороге с прилично одетым и любезным попутчиком, в обществе которого они думали найти покровительство и развлечение; тот увеселял их в пути рассказами и песнями, заступался за них, когда бесчестный кабатчик запрашивал лишнее или подсовывал неправильный счет, но в конце концов предложив сократить тропинкой путь в пустынной местности, заманивал доверчивую жертву с проезжей дороги в мрачное ущелье, где на его внезапный свист выбегали из тайников его товарищи, и тут он открывал свое истинное лицо – лицо атамана разбойничьей шайки, а неосторожный путник платился кошельком, если не жизнью. По мере приближения развязки, когда мой незнакомец собственным рассказом приведет себя, бывало, в состояние тревоги, он, замечал я, начинал коситься на меня, точно побаиваясь, что и сам в эту минуту находится в обществе такой же опасной личности, о какой повествовал его рассказ. И то и дело, когда подобное предположение всплывало в мыслях этого изощренного самоистязателя, он, отъезжая от меня к другому краю дороги, озираясь по сторонам, осматривал свое оружие и, казалось, готовился к бегству или защите – как потребуют обстоятельства.

Подозрение, возникавшее у него в таких случаях, казалось мне лишь мимолетным и настолько смешным, что оно не могло меня оскорбить. В одежде моей и обхождении не было ничего подозрительного, но почему нельзя было принять меня за разбойника? В те дни человек мог быть во всем похож на джентльмена и все-таки оказаться грабителем. Поскольку разделение труда в каждой отрасли еще не наметилось тогда так отчетливо, как впоследствии, профессия вежливого и образованного авантюриста, который выманивает у вас деньги в Уайте или избавляет вас от них в Мерибоне, часто соединялась с ремеслом грабителя, который где-нибудь в Лисьем Логу или Зябликовой Роще приказывал такому же щеголю, как и он сам: «Кошелек или жизнь!» К тому же в те времена обращение отличалось некоторой грубостью и резкостью, которые впоследствии значительно смягчились. Мне кажется, я припоминаю, как отчаянные люди более беззастенчиво прибегали тогда к рискованным способам приобретения богатства. Правда, и тогда уже отошли в прошлое те времена, когда Энтони-э-Вуд мог сокрушаться о казни двух молодцов – людей неоспоримой отваги и чести, но которых безжалостно повесили в Оксфорде по той лишь причине, что нужда заставила их собирать дань на большой дороге. Еще дальше были от нас дни Бешеного Принца и его приспешника Пойнса. Но все же и тогда обширные пустоши под Лондоном и малонаселенные окраины давали прибежище тем рыцарям большой дороги, которые со временем, возможно, выведутся вовсе, – всадникам-грабителям, промышлявшим своим ремеслом не без учтивости; подобно Гиббету в «Хитроумном плане щеголя», они кичились тем, что слынут самыми благовоспитанными разбойниками на всю округу и совершают свои дела с подбавающей вежливостью. Поэтому молодому человеку в моих обстоятельствах не следовало приходить в негодование, если его ошибочно принимали за представителя этого почтенного сословия.

Я и не обижался. Напротив, я находил развлечение, попеременно возбуждая и усыпляя подозрительность своего робкого попутчика, и нарочно действовал так, что еще больше приводил в замешательство мозг, от природы не слишком ясный и затуманенный вдобавок страхом. Когда моя непринужденная беседа убаюкивала его и совершенно успокаивала, довольно мне было спросить у попутчика как бы невзначай, куда он держит путь или по какому делу, и тот снова настораживался. Вот какой оборот принял у нас, например, разговор о силе и резвости наших лошадей.

– Право, сэр, – сказал мой попутчик, – в галопе я с вами тягаться не стал бы, но позвольте вам заметить, что ваш мерин (хоть он и очень красив, что и говорить) слишком мелкокопост и вряд ли достаточно вынослив в беге. Рысь, сэр, – тут он прищипорил своего буцефала, – мелкая рысь – вот самый правильный аллюр для доброго коня, и будь мы поближе к какому-нибудь городу, я взялся бы обогнать вашего красавчика на ровной дороге (только не вскачь!) за две пинты кларета в ближайшей харчевне.

– Я согласен, сэр, – был мой ответ. – Кстати, и местность здесь подходящая.

– Хм, э... гм... – замялся мой приятель. – Я поставил себе за правило во время поездки не переутомлять коня на середине перегона: никогда нельзя знать, не понадобится ли вдруг вся его прыть. Кроме того, сэр, утверждая, что мой конь не отстал бы от вашего, я хотел сказать – при равной нагрузке; вы же весите на добрых четыре стона меньше, чем я.

– Прекрасно! Я согласен взять добавочный груз. Сколько весит ваш чемодан?

– Мой ч-ч... чемодан? – переспросил он растерянно. – Он у меня совсем легкий, как перышко: рубашки да чулки.

– На вид он довольно тяжел. Ставлю две пинты кларета, что он покроет разницу в весе между нами.

– Вы ошибаетесь, сэр. Уверяю вас, глубоко ошибаетесь, – возразил мой приятель и отъехал к самому краю дороги, как он это делал каждый раз в минуту тревоги.

– Ладно, я готов рискнуть бутылкой вина, или, если хотите, я поставлю десять золотых против пяти, что привяжу к седлу ваш чемодан и все-таки обгоню вас рысью.

Это предложение довело тревогу моего приятеля до предела. Нос его изменил свою обычную медную окраску, сообщенную ему многочисленными чарками белого и красного вина, на бледно-оловянную, а зубы выбивали дробь от ужаса перед откровенной дерзостью моего предложения, которое, казалось, разоблачило перед несчастным дерзкого грабителя во всей его свирепости. Пока он, запинаясь, искал ответа, я несколько успокоил его вопросом о показавшейся вдали колокольне и замечанием, что теперь нам уже недалеко до селения и мы можем не опасаться неприятной встречи в дороге. Лицо его прояснилось, но я видел, что он еще не скоро забудет мое предложение, показавшееся ему столь подозрительным. Я докучаю вам такими подробностями о своем попутчике и о моем подтрунивании над ним, потому что эти мелочи, как ни пустячны они сами по себе, оказали большое влияние на дальнейшие события, о которых мне придется рассказать в моей повести. В то время поведение попутчика внушило мне только презрение к нему и утвердило меня в давнишнем моем убеждении, что из всех наклонностей, побуждающих человека терзать самого себя, наклонность к беспричинному страху – самая нудная, хлопотная, мучительная и жалкая.

## Глава IV

*«Шотландец нищ!» – кричит кичливый бритт,  
И это сам шотландец подтвердит,  
Но в Англию приходит он к чему?  
Чтобы верней набить свою суму!*

### Черчил

В те дни, о которых я пишу, существовал на английских дорогах старомодный обычай, ныне, думается мне, или вовсе забытый, или соблюдаемый только в простонародье. Так как дальние поездки совершались всегда верхом и, понятно, с частыми привалами, было принято на воскресенье останавливаться в каком-либо городе, где путешественник мог сходить в церковь, а конь его – насладиться однодневным отдыхом, – обычай, равно человеческий в отношении наших тружеников-животных и полезный для нас самих. С этим добрым правилом находился в соответствии и другой обычай, пережиток старого английского гостеприимства: хозяин главной гостиницы города на воскресенье слагал с себя обязанности торговца и приглашал всех постояльцев, оказавшихся в этот день под его кровом, разделить с ним его семейную трапезу – жаркое из говядины и пудинг. Приглашение это обычно принималось всеми, кто только не мнил унизительным для своего высокого сана его принять; и единственной платой, какую разрешалось предложить или взять, была бутылка вина, распиваемая после обеда за здоровье хозяина.

Я родился гражданином мира, и мои наклонности постоянно приводили меня туда, где я мог пополнить свое знание людей; и не было у меня притязаний, заставлявших держаться общества людей высшего сословия, а потому я редко отклонял воскресное гостеприимство хозяина гостиницы – под знаком ли Подвязки, Льва или Медведя. Почтенный трактирщик, всегда достаточно важный, а тут еще более возвысившийся в собственных глазах оттого, что занял председательское место среди гостей, которым обычно должен был прислуживать, сам по себе представлял интересное зрелище; а вокруг него, озаряемые его благосклонными лучами, вращались планеты менее значительные. Острословы и шутники, виднейшие лица города или деревни – аптекарь, юрист и даже священник – не гнушались этого еженедельного празднества. Гости, попавшие сюда из самых разных мест, представители самых разных занятий, по языку, по манерам, по образу мыслей являли странный контраст, весьма любопытный для того, кто желает познать человеческую природу во всем ее многообразии.

И вот в такой день и по такому именно случаю мне и моему трусливому попутчику предстояло почтить своим присутствием стол краснощекого владельца «Черного медведя» в городе Дарлингтоне, Дарэмского епископства. Хозяин сообщил нам, как бы извиняясь, что к обеду приглашен среди прочих один шотландский джентльмен.

– Джентльмен? Какого рода джентльмен? – поспешил осведомиться мой попутчик, подумавший, наверно, о джентльменах с большой дороги, как их тогда величали.

– Какого рода? Шотландского, как я уже сказал, – ответил хозяин. – Они там все, доложу вам, джентльмены, хоть на ином и рубашки-то нет прикрыть наготу; но этот как раз довольно приличный плут – самый большой ловкач с севера Британии, какого только встретишь по сю сторону Бервикского моста. Он, сдастся мне, торгует скотом.

– Превосходно! Пусть разделит с нами компанию, – сказал мой попутчик и, повернувшись ко мне, стал излагать свои воззрения: – Я уважаю шотландцев, сэр; люблю и почитаю этот народ за его нравственные устои. Часто приходится слышать, что у них будто бы грязь

и нищета, но я хвалю неподкупную честность, даже когда она ходит в отрепьях, как сказал поэт. Я знаю из верного источника, сэр, – от людей, на которых можно положиться, – что в Шотландии совершенно неизвестно, что такое разбой на большой дороге.

– Вероятно, потому, что у них там грабить нечего, – вставил владелец гостиницы и рассмеялся, приветствуя собственное остроумие.

– Ну нет, любезный хозяин, – прогудел за его спиной сильный, сочный голос, – скорее потому, что ваши английские акцизники и ревизоры,<sup>29</sup> которых вы послали на север, за Твид, прибрали грабительский промысел к своим рукам.

– Прекрасно сказано, мистер Кэмбел! – подхватил хозяин. – Я не знал, что ты от нас так близко. Но ты знаешь, я истый йоркширец. Как идут дела на южных рынках?

– Как обычно, – ответил мистер Кэмбел, – умные покупают и продают, дураки покупаются и продаются.

– Но и умные и дураки не отказываются отобедать, – сказал наш радушный хозяин. – А вот как раз нам несут самый великолепный говяжий огузок, в какой только доводилось втыкать вилку голодному человеку.

Сказав это, он со сладострастием наточил нож, занял свое королевское место за верхним концом стола и весело принялся наполнять тарелки своих разношерстных гостей.

В этот день я впервые в жизни услышал шотландский говор и близко встретился с представителем древней народности, которой этот говор свойствен. Шотландцы с ранних лет занимали мое воображение – мой отец, как вам хорошо известно, происходил из старинной нортумберлендской семьи, и в тот час, сидя за воскресным обедом, я находился в нескольких милях от ее родового поместья. Но ссора между ним и его родственниками зашла так далеко, что он неохотно упоминал о своем происхождении и считал самым жалким видом тщеславия ту слабость, которая обычно именуется фамильной гордостью. В своем честолюбии он хотел быть только Уильямом Осбалдистоном, первым купцом в Сити – или одним из первых; и если бы доказали, что он прямой потомок Вильгельма Завоевателя, это меньше польстило бы его тщеславию, чем суматоха и гомон, которыми встречали обычно его появление на Биржевой улице «быки», «медведи» и маклеры. Он, бесспорно, хотел бы оставить меня в неведении о моих родичах и происхождении, чтобы тем вернее обеспечить согласие между моим образом мыслей и своим собственным. Однако его намерения, как это случается порой с умнейшими людьми, были разрушены – если не полностью, то частично – человеческим существом, которое он в своей гордости привык считать слишком незначительным и потому не опасался его влияния на меня. Няня, старая нортумберлендка, растившая его с самого раннего детства, была единственным человеком на родине, к которому он сохранил какие-то чувства; и когда фортуна улыбнулась ему, первой его заботой было дать старой Мэйбл Рикетс приют в своем доме. После смерти моей матери Мэйбл взяла на себя уход за мною и во время моих детских болезней уделяла мне те нежные заботы, какие дарит ребенку теплое женское сердце. Так как мой отец запрещал ей говорить при нем о холмах, о долинах и болотах ее возлюбленного Нортумберленда, она вливала яд своей тоски в мои детские уши, описывая те места, где протекала ее молодость, и попутно повествуя о событиях, которые связывало с ними предание. Эти рассказы я слушал внимательней, чем наставления других моих учителей, более серьезные, но менее увлекательные. Я и сейчас словно вижу перед собою добрую Мэйбл, ее слегка трясущуюся от старческой слабости голову в большом белоснежном чепце, лицо, покрытое морщинами, но сохранившее еще здоровые краски деревенской жительницы, и, кажется мне, вижу, как она растерянно смотрит то в одно, то в другое окно на кирпичные стены и узкую улицу, закончив со вздохом свою любимую старую песенку,

<sup>29</sup> Посылка в Шотландию акцизников, ревизоров и оценщиков вызвала среди населения Шотландии сильное недовольство, хотя явилась естественным следствием соединения королевств. (Прим. автора.)

которую я тогда предпочитал и – к чему таить мне правду? – по сей день предпочитаю всем оперным ариям, какие только зарождались в капризном мозгу итальянского маэстро Д.:

Дуб, да плющ, да светлый яшень,  
Старый добрый вяз, –  
Вы нигде так не цветете,  
Как на севере у нас!

О шотландском народе в легендах Мэйбл говорилось каждый раз со всем пафосом ненависти, на какой только была способна рассказчица. Обитатели зарубежной страны выступали в ее повествованиях на тех ролях, какие играют в обычной детской сказке людоеды и великаны в семимильных сапогах. Да и как могло быть иначе? Кто, как не Черный Дуглас, собственной рукой заколол наследника рода Осбалдистонов на другой день после того, как тот вступил во владение своим поместьем, – напал врасплох на него и на его вассалов, когда они справляли подобающий случаю пир? Кто, как не Уот Сатана, угнал всех нестриженных овец с нагорных лугов Лэнторн-сайда еще совсем недавно – при жизни моего прадеда? И разве мы сами не стяжали множество трофеев (добытых, однако, по рассказам старой Мэйбл, более честным путем) в доказательство того, что наши обиды отомщены? Разве сэр Генри Осбалдистон, пятый барон этого имени, не похитил прекрасную девицу из Фернингтона, как Ахилл Хрисеиду и Брисеиду, и не держал ее в своем замке, отбиваясь от соединенных сил ее друзей, которым помогали самые могущественные вожди воинственных шотландских кланов? И разве наши мечи не сверкали в первых рядах почти на всех полях сражения, где Англия побеждала соперницу? В северных войнах наша семья стяжала всю свою славу, из-за северных войн терпела все свои бедствия.

Распаленный такими рассказами, я в детстве смотрел на шотландцев как на племя, по самой природе своей враждебное обитателям южной половины острова, и это предубеждение не могли поколебать отзывы моего отца, когда в разговоре заходила речь о шотландцах. Покупая дубовый лес, он заключал контракты с землевладельцами Верхней Шотландии и пришел к выводу, что они проявляют больше усердия при подписании договора и выискивании авансов, нежели аккуратности при выполнении взятых на себя обязательств. Шотландские негоцианты, чье посредничество по необходимости приходилось принимать в таких случаях, тоже умудрялись, как подозревал отец, тем или иным путем обеспечить себе больше прибыли, нежели причиталось на их долю. Словом, если Мэйбл жаловалась на шотландское оружие в прошлые времена, то мистер Осбалдистон не меньше злобствовал на коварство Синонов современности; без всякого намерения они, каждый со своей стороны, внушали моему юному уму глубокое отвращение к северным жителям Британии как к народу кровожадному на войне, коварному во время перемирия, корыстному, себялюбивому, скупому, лукавому в житейских делах и обладающему очень немногими достоинствами – такими, что лучше и не упоминать: жестокостью, похожей в бою на храбрость, и хитростью, заменяющей ум при обычных, мирных сношениях между людьми. В оправдание тем, кто придерживался этого предрассудка, я должен заметить, что в те времена шотландцы грешили такой же несправедливостью по отношению к англичанам и огульно клеймили их всех как надменных эпикурейцев, кичившихся толстой мошной. Такие семена национальной розни между обеими странами сохранились как естественный пережиток того времени, когда Англия и Шотландия существовали на положении двух отдельных враждующих государств. Мы недавно были свидетелями того, как демагогия на время раздула эти искры в огонь, который, как я горячо надеюсь, погас теперь в собственной золе. Это написано, по-видимому, вскоре после дней Уилкса и Свободы. (Прим. автора.)]

Итак, я смотрел недружелюбно на первого шотландца, с каким мне довелось повстречаться в обществе. Многое в нем соответствовало моим прежним представлениям: у него были жесткие черты лица и атлетическое сложение, характерные будто бы для его соотечественников, и говорил он с шотландской интонацией, медлительно и педантично, стараясь избегать неправильностей речи и неанглийских оборотов. Я мог отметить также свойственную его племени осторожность и проницательность во многих его замечаниях и в его ответах на вопросы. Но неожиданным было для меня его самообладание и тон превосходства, которым утверждал он свое верховенство в той среде, куда его забросил случай. Его одежда была хоть и прилична, но до крайности проста; а в те времена, когда самый скромный человек, притязавший на звание джентльмена, тратил крупные деньги на свой гардероб, это указывало если не на бедность, то на стесненность в средствах. Из его разговора явствовало, что он ведет торговлю скотом, – занятие не слишком почтенное. И все же в обращении с остальным обществом он соблюдал ту холодную и снисходительную вежливость, которая подразумевает действительное или воображаемое превосходство человека над другими. О чем бы ни высказывал он свое мнение, в голосе его звучала спокойная самоуверенность – как будто говорил он с людьми, стоящими ниже его по званию и по общественному положению, и сказанное им исключает всякое сомнение или спор. Хозяин и его воскресные гости после двух-трех попыток поддержать свое достоинство шумными возгласами и смелыми утверждениями постепенно преклонились перед авторитетом мистера Кэмбела, который таким образом безраздельно завладел нитью разговора. Я сам любопытства ради попробовал было потягаться с ним, положившись на свое знание света, данное мне жизнью за границей, и на те сведения, которыми изрядное образование обогатило мой ум. В этом он оказался слабым противником, и нетрудно было видеть, что его врожденные способности не развиты образованием. Но я убедился, что он гораздо лучше меня знает настоящее положение дел во Франции, личные качества герцога Орлеанского, который только что сделался регентом королевства, и нравы окружающих его государственных людей; а его меткие, язвительные и несколько иронические замечания показывали, что о наших заморских соседях он мог судить как близкий наблюдатель.

Когда речь шла о внутренней политике, Кэмбел хранил молчание или высказывался сдержанно, что, быть может, подсказывала ему осторожность. Раздоры между вигами и тори потрясали в то время Англию до самых основ, а могущественная партия, преданная интересам якобитов, угрожала ганноверской династии, только что утвердившейся на троне. По всем кабакам горланили спорящие политиканы; а так как наш хозяин придерживался либерального правила не ссориться ни с одним хорошим клиентом, его воскресные гости зачастую так непримиримо расходились во взглядах, как если бы он чествовал за своим столом весь городской совет. Приходский священник и аптекарь да еще один маленький человек, который не хвалился своим ремеслом, но, судя по розовым цепким пальцам, был, как я подумал, цирюльником, твердо держались Высокой церкви и дома Стюартов. Сборщик податей по долгу службы и юрист, подбиравшийся к теплоте местечку при казне, а с ними и мой попутчик, горячо ввязавшийся в спор, яро отстаивали короля Георга и дело протестантизма. Громки были возгласы, грозны проклятия! Каждая сторона взывала к мистеру Кэмбелу, словно домогаясь его высокого одобрения.

– Вы шотландец, сэр, джентльмены вашей страны должны бороться за поправленные права законного наследника! – кричали они.

– Вы пресвитерианин, – твердили спорщики другого толка, – вы не можете стоять за власть произвола!

– Джентльмены, – сказал наш шотландский оракул, улучив не без труда минуту тишины, – я ничуть не сомневаюсь, что король Георг вполне заслуживает приверженности своих друзей; и если он усидит на троне, он, конечно, сделает присутствующего здесь

сборщика податным ревизором и возведет нашего друга мистера Квитама в ранг старшего прокурора; и точно так же не обойдет он милостью или наградой этого честного джентльмена, который сидит здесь на своем чемодане, предпочитая его стулу. И, несомненно, король Иаков – тоже благородный человек, и когда возьмет верх в игре, он может, если ему заблагорассудится, сделать уважаемого нашего викария архиепископом Кентерберийским, а доктора Миксита – своим старшим врачом и поручить свою королевскую бороду заботам моего друга Ладерама. Но так как я не очень-то надеюсь, что хоть один из этих соперничающих государей поднесет Робу Кэмбелу чарку водки, когда он будет в ней нуждаться, я подаю голос за Джонатана Брауна, нашего хозяина. Да будет он королем и первым виночерпием, но с одним условием: он поставит нам еще бутылку столь же доброго вина, как и то, что мы только что выпили.

Эта выходка была встречена шумным одобрением, к которому искренне присоединился и сам хозяин. Распорядившись о выполнении поставленного условия, от коего зависело его возведение на трон, он не преминул сообщить нам, что мистер Кэмбел, «будучи самым мирным джентльменом, как он это только что доказал, отличается в то же время храбростью льва: недавно он один победил семерых разбойников, напавших на него по пути из Уитсон-Триста».

– Тебе наврали, друг Джонатан, – перебил его Кэмбел. – Их было двое, и таких трусов, с какими только можно пожелать человеку встретиться в пути.

– Но вы, сэр, – сказал мой попутчик, подвигая стул (вернее сказать, чемодан) поближе к мистеру Кэмбелу, – так-таки взаправду справились один с двумя разбойниками?

– Да, сэр, – ответил Кэмбел, – и, мне кажется, не такой это великий подвиг, чтоб о нем трубить.

– Честное слово, сэр, – ответил мой знакомый, – для меня было бы истинным удовольствием путешествовать в вашем обществе! Я держу путь на север, сэр.

Это добровольное сообщение о своем маршруте, впервые, насколько я мог судить, сделанное моим попутчиком, не вызвало шотландца на ответную откровенность.

– Вряд ли мы сможем ехать вместе, – ответил он сухо. – Вы, сэр, едете, несомненно, верхом на хорошей лошади, а я сейчас путешествую пешком или же на горном шотландском пони, что не многим быстрее.

Говоря это, он приказал подать ему счет за вино и, бросив на стол деньги за добавочную бутылку, которую вытребовал сам, встал, как будто собираясь нас покинуть.

Мой попутчик подбежал к нему и, взяв за пуговицу, отвел его в сторону, к одному из окон. Я невольно подслушал, как он упрасивал о чем-то шотландца, – судя по всему, он просил его сопровождать ему в дороге, на что мистер Кэмбел отвечал, очевидно, отказом.

– Я возьму на себя ваши путевые расходы, сэр, – сказал путешественник таким тоном, точно ждал, что этот довод опрокинет все возражения.

– Это совершенно невозможно, – ответил Кэмбел с презрением в голосе, – у меня дело в Ротбери.

– Да я не очень спешу: я могу свернуть немного в сторону и не пожалею, ежели ради хорошего попутчика потеряю в дороге день-другой.

– Говорят вам, сэр, – сказал Кэмбел, – я не могу оказать вам услугу, о которой вы просите. Я еду, – добавил он, гордо выпрямившись, – по своим личным делам. И если вы последуете моему совету, сэр, вы не станете связываться в пути с чужим человеком или сообщать свой маршрут тому, кто вас о нем не спрашивает.

Тут он довольно бесцеремонно отвел пальцы собеседника от своей пуговицы и, подойдя ко мне, когда гости уже расходились, заметил:

– Ваш друг, сэр, слишком разговорчив, если принять во внимание данное ему поручение.

– Этот джентльмен, – возразил я, указывая глазами на путешественника, – вовсе мне не друг – случайное дорожное знакомство, не более; мне не известно ни имя его, ни род его занятий, и вы, по-видимому, завоевали у него больше доверия, чем я.

– Я только хотел сказать, – поспешил ответить мистер Кэмбел, – что он, по-моему, слишком опрометчиво навязывается в спутники тем, кто не ищет этой чести.

– Джентльмен, – возразил я, – лучше знает свои дела, и мне совсем нежелательно высказывать о них свое суждение с какой бы то ни было стороны.

Мистер Кэмбел воздержался от дальнейших замечаний и только пожелал мне счастливого пути. Надвигался вечер, и общество уже разошлось.

На другой день я расстался с моим боязливым попутчиком, так как свернул с большой северной дороги на запад, в направлении к замку Осбалдистон, где жил мой дядя. Не могу сказать, был ли он обрадован или огорчен, что наши пути разошлись, – моя личность рисовалась ему в довольно сомнительном свете. Меня же его страхи давно перестали забавлять, и, сказать по правде, я был искренне рад избавиться от него.



## Глава V

*В груди забьется сердце, если нимфа  
Прелестная, краса моей страны,  
Пришпорит благородного коня  
И он помчит ее по горной круче  
Иль унесет в широкие поля.*

### «Охота»

Я приближался к северу – к родному северу, как я называл его в мыслях, – преисполненный той восторженности, какую романтический и дикий пейзаж внушает любителям природы. Болтовня попутчика не докучала мне больше, и я мог наблюдать местность, выгодно отличавшуюся от той, где пролегал до сих пор мой путь. Реки теперь больше заслуживали этого названия: явившись на смену сонным заводям, дремавшим среди камышей и ракит, они шумно катились под сенью несаженных рощ: то неслись они стремительно под уклон, то струились, лениво журча, но все же сохраняя живое движение, по маленьким уединенным долинам, которые, открываясь порой по дороге, казалось, приглашали путника заняться исследованием их тайников. В угрюмом величии высились предо мною Чевиотские горы. Они, правда, не пленяли взора величественным многообразием скал и утесов, отличающим более высокие хребты, но все же, массивные и круглоголовые, одетые в красно-бурую мантию, горы эти своим диким и мощным видом действовали на воображение: нелюдимый и своеобразный край.

Замок моих дедов, к которому я приближался теперь, расположился в лого, или узкой долине, поднимавшейся некруто вверх между предгорьями. Обширные поместья, некогда принадлежавшие роду Осбалдистонов, были давно утрачены или промотаны моими неудачливыми предками, но все же при старом замке оставалось еще достаточно угодий, чтобы сохранить за моим дядей звание крупного землевладельца. Имущество свое (как выяснил я из расспросов, производимых мною в дороге) он расточал на широкое гостеприимство, которое почитал обязательным – для сохранения доброго имени среди северных сквайров.

С вершины холма я мог уже различить вдали Осбалдистон-холл – большое старинное строение, выглядывавшее из рощи могучих друидических дубов, и я направил к нему свой путь поспешно и прямо, насколько это позволяли извивы неровной дороги, когда вдруг мой утомленный конь запрядал ушами, услышав залихватый лай своры гончих и веселое пение французского рожка – в те дни неизменный аккомпанемент охоты. Я не сомневался, что то была свора моего дяди, и придержал коня, чтобы охотники могли проехать мимо, не заметив меня; не желая представляться им среди отъезжего поля, я решил пропустить их, последовать дальше своей дорогой к замку и там дожждаться возвращения его владельца с охоты. Итак, я остановился на пригорке и, не чуждый любопытства, которое, естественно, должны внушать эти сельские забавы (хотя мой ум в тот час был не слишком восприимчив к впечатлениям такого рода), нетерпеливо ждал появления охотников.

Из заросли кустов, покрывавшей правую сторону ложбины, показалась загнанная, еле живая лисица. Опушенный хвост, замызганная шерсть и вялый бег предвещали ее неминуемую гибель, и жадный до падали ворон уже кружил над беднягой Рейнардом, видя в нем добычу. Лисица переплыла поток, пересекавший ложбину, и пробиралась дальше, вверх по овражку, на левый берег, когда несколько собак, опередив остальную заливавшуюся лаем свору, выскочили из кустов, а за ними егерь и еще три или четыре всадника. Собаки безошибочным чутьем находили лисий след, и охотники очертя голову неслись за ними по бездо-

рожью. Это были высокие, плотные юноши на прекрасных конях, одетые в зеленое и красное – костюм охотничьего общества, существовавшего под эгидой старого сэра Гилдебранда Осбалдистона. «Мои двоюродные братья!» – решил я, когда всадники пронеслись мимо. И тут же подумалось: «Какой же прием окажут мне эти достойные потомки Немврода? Чуждый сельских утех, смогу ли я найти покой и счастье в семье моего дяди?» Возникшее предомыслие прервало эти думы.

То была юная леди с замечательными чертами лица, вдвойне прелестного от возбуждения, сообщенного ему охотничьим азартом и быстрой ездой. Под нею была красивая лошадь, сплошь вороная, только на удилах белели клочья пены. Всадница была одета в довольно необычный по тому времени костюм мужского покроя, получивший впоследствии название амазонки. Эта мода была введена, пока я жил во Франции, и оказалась для меня новинкой. Длинные черные волосы наездницы развевались по ветру, выбившись в пылу охоты из-под сдерживавшей их ленты. Крайне неровный грунт, по которому она с поразительной ловкостью и присутствием духа вела лошадь, замедлял ее продвижение и заставил проехать ближе от меня, чем пронеслись другие всадники, поэтому я мог хорошо разглядеть ее удивительно тонкое лицо и весь ее облик, которому придавали невыразимую прелесть буйное веселье этой сцены, романтичность своеобразного наряда и самая неожиданность появления. Едва она поравнялась со мной, как ее разгоряченная лошадь сделала неверное движение в тот самый миг, когда наездница, выехав на открытую дорогу, снова дала ей шпоры. Это послужило мне поводом подъехать ближе, как будто на помощь. Причин к беспокойству, однако, не было – лошадь не споткнулась и не оступилась; а если бы и оступилась, у прекрасной всадницы было достаточно самообладания, чтобы при этом не растеряться. Все же она поблагодарила меня улыбкой за доброе мое намерение, и я, осмелев, пустил коня тем же аллюром и старался держаться в непосредственной близости к ней. Крики: «Хью! Убита, убита!» – и соответственная трель охотничьего рога вскоре известили нас, что спешить больше не к чему, так как охота завершилась. Один из виденных мною раньше юношей приближался к нам, размахивая лисьим хвостом, – как бы в укор моей прелестной спутнице.

– Вижу, – отозвалась та, – вижу, но нечего так кричать. Если бы Феба не завела меня на скалистую тропу, вам было бы нечем похвастаться, – добавила она, потрепав по шее свою красивую лошадь.

Они съехались, пока она говорила, и я видел, что оба поглядывали на меня и с минуту совещались вполголоса, причем молодая леди как будто уговаривала охотника что-то сделать, а тот опасливо и угрюмо оглядывался. Затем она повернула голову лошади в мою сторону со словами:

– Прекрасно, Торни, не вы, так я, только и всего! Сэр, – продолжала она, обратившись ко мне, – я убеждала этого цивилизованного джентльмена спросить у вас, не довелось ли вам проездом слышать что либо о нашем друге, мистере Фрэнсисе Осбалдистоне, которого мы со дня на день ждем в Осбалдистон-холл.

С искренней радостью я поспешил признаться, что я сам и есть то лицо, о котором спрашивают, и выразил благодарность молодой леди за ее беспокойство обо мне.

– В таком случае, сэр, – отвечала амазонка, – так как учтивость моего родича еще не очнулась от дремоты, разрешите мне (хоть это, может быть, и не совсем прилично) взять на себя совершение церемониала и представить вам юного сквайра Торнклифа Осбалдистона, вашего двоюродного брата, и Ди Вернон, которая также имеет честь быть бедной родственницей вашего несравненного кузена.

В тоне, которым мисс Вернон произнесла эти слова, звучала смесь дерзости, иронии и простодушия. Достаточное знание света позволило мне, приняв соответственный тон, поблагодарить ее за лестное внимание и выразить свою радость по поводу встречи с родственниками. Откровенно говоря, я облек свой комплимент в такие выражения, что леди

легко могла принять его почти целиком на свой счет, так как Торнклиф казался настоящим деревенским увальнем, неуклюжим, застенчивым и довольно угрюмым. Однако он пожал мне руку и тут же высказал желание оставить меня, чтобы помочь егерям и своим братьям сосворить собак; впрочем, это было сказано скорее к сведению мисс Вернон, чем в извинение предо мною.

– Ускакал! – сказала молодая леди, провожая кузена взглядом, в котором отразилось откровенное презрение. – Первейший знаток петушиного боя, король конюхов и лошадиников. Но они все один другого лучше. Читали вы Маркхема? – добавила она.

– Кого, сударыня? Я что-то не припомню такого писателя.

– О несчастный! На какой же берег вас забросило! – ответила молодая леди. – Бедный заблудший и невежественный чужеземец, незнакомый даже с алькораном того дикого племени, среди которого вам придется жить! Вы никогда не слышали о Маркхеме, знаменитейшем авторе руководства для коновалов? Если так, я боюсь, вам равным образом неизвестны и более новые имена – Гибсона и Бартлета?

– Поистине так, мисс Вернон.

– И вы, не краснея, в этом признаетесь? Мы, кажется, должны будем от вас отречься. В довершение всего вы, конечно, не умеете приготовить коню лекарство, задать ему резки и расчистить стрелку?

– Признаться, эти дела я доверяю конюху или слуге.

– Непостижимая беспечность! И вы не умеете подковать лошадей, подстричь ей гриву и хвост? Не умеете выгнать глистов у собаки, подрезать ей уши, отрубить ей «лишний палец»? Не умеете вабить сокола, дать ему слабительного, посадить на диету, когда его крепит?

– Короче, чтобы выразить в двух словах всю глубину моего невежества, – ответил я, – сознаюсь, что я абсолютно лишен каких бы то ни было сельских совершенств.

– Но, во имя всего святого, мистер Фрэнсис Осбалдистон, что же вы умеете делать?

– В этой области очень немногое, мисс Вернон. Все же, осмелюсь сказать, когда слуга оседлает мне лошадь, я могу на ней ездить, и когда сокол мой в поле, могу его спустить.

– А это вы можете? – сказала молодая леди, пуская вскачь коня.

Дорогу нам преградила грубая, перевитая поросшими ветками изгородь с воротами из нетесаных бревен; я поскакал вперед, собираясь отворить их, когда мисс Вернон плавным прыжком взяла барьер. По долгу чести я вынужден был последовать ее примеру; мгновение – и мы снова скакали бок о бок.

– Вы все-таки подаете кое-какие надежды, – сказала она. – Я боялась, что вы настоящий выродок среди Осбалдистонов. Но что загнало вас в Волчье Логово, ибо так окрестили соседи наш охотничий замок? Ведь вы, я полагаю, не приехали бы сюда по доброй воле?

К этому времени я уже чувствовал себя на дружеской ноге с моим прелестным видением и поэтому, понизив голос, ответил доверительно:

– В самом деле, милая мисс Вернон, необходимость прожить некоторое время в Осбалдистон-холле я мог бы счесть наказанием, если обитатели замка таковы, как вы их описываете; но я убежден, что есть среди них одно исключение, которое вознаградит меня за недостатки всех остальных.

– О, вы имеете в виду Рэшли? – сказала мисс Вернон.

– Сказать по совести, нет; я думал, простите меня, об особе, находящейся неподалеку.

– Полагаю, приличней было бы не понять вашей любезности, но это не в моем обычае; не отвечаю вам реверансом, потому что сижу в седле. Однако вы заслуженно называли меня исключением, так как в замке я единственный человек, с которым можно разговаривать, не считая еще старого священника и Рэшли.

– Ради всего святого, кто же этот Рэшли?

– Рэшли – человек, который задался целью расположить к себе всех и каждого. Он младший сын Гилдебранда, юноша вашего примерно возраста, только не такой... словом, он некрасив, но природа дала ему в дар крупицу здравого смысла, а священник прибавил к этому с полбушеля знаний, – он слывет очень умным человеком в наших краях, где умные люди наперечет. Его готовили к служению в церкви, но он не спешит с посвящением в сан.

– Какой церкви? Католической?

– Конечно, католической! А какой же еще? – сказала леди. – Но я забыла: меня предупреждали, что вы еретик. Это правда, мистер Осбалдистон?

– Не могу отвести ваше обвинение.

– А между тем вы жили за границей, в католических странах?

– Жил. Почти четыре года.

– И бывали в монастырях?

– Случалось; но не много видел в них такого, что говорило бы в пользу католической религии.

– Разве несчастливы их обитатели?

– Некоторые, безусловно, счастливы – те, кого привели к отрешению глубокая религиозность, или изведенные в миру гонения и бедствия, или природное бесстрашие. Но те, что постриглись в случайном и нездоровом порыве восторженности или под воздействием первого отчаяния после какого-нибудь разочарования или удара, – те беспредельно несчастны. Чувства быстро оживают вновь, и эти люди, точно дикие животные в зверинце, изнывают в заточении, в то время как другие предаются мирным размышлениям или просто жиреют в своих тесных кельях.

– А что происходит, – продолжала мисс Вернон, – с теми жертвами, которых заточила в монастырь не собственная воля, а чужая? С кем их сравнить? И в особенности если они рождены наслаждаться жизнью и радоваться всем ее дарам?

– Сравните их с посаженными в клетку певчими птицами, – отвечал я, – обреченными влачить свою жизнь в заточении. На утеху себе они развивают там свой дар, который служил бы украшением обществу, если б их оставили на воле.

– А я буду похожа, – отозвалась мисс Вернон, – то есть, – поправились она, – я была бы похожа скорее на дикого сокола, который, скучая по вольному полету в облаках, бьется грудью о решетку клетки, пока не изойдет кровью. Но вернемся к Рэшли, – сказала она с живостью.

– Вы будете считать его самым приятным человеком на земле, мистер Осбалдистон, – по крайней мере первую неделю знакомства. Найти бы ему слепую красавицу, он, несомненно, покорил бы ее; но глаз разбивает чары, околдовавшие слух... Ну вот, мы въезжаем во двор старого замка, такого же нелюдимого и старомодного, как любой из его обитателей. В Осбалдистон-холле, надо вам знать, не принято много заботиться о своем туалете; все же я должна сменить это платье – в нем слишком жарко, да и шляпа давит мне лоб, – весело продолжала девушка и, сняв шляпу, тряхнула густыми, черными, как смоль, кудрями; пальцами она отстранила локоны от своего красивого лица и проницательных карих глаз. Если и была в этом доля кокетства, ее отлично замаскировала простодушная непринужденность манеры. Я не удержался и сказал, что если судить о семье по тем ее представителям, которых я вижу пред собою, то здесь, мне думается, забота о туалете была бы излишней.

– Вы очень вежливо это выразили, хотя, быть может, мне не следует понимать, в каком смысле сказаны ваши слова, – ответила мисс Вернон. – Но вы найдете лучшее оправдание для некоторой небрежности туалета, когда познакомитесь с Орсонами, среди которых предстоит вам жить и которым не скрасить свой облик никаким нарядом. Но, как я уже упоминала, с минуты на минуту зазвонит к обеду старый колокол или, вернее, задребезжит – он треснул сам собою в тот день, когда причалил к острову король Уилли, и дядя мой из ува-

жения к пророческому дару колокола не разрешает его залить. Итак, изобразите учтивого рыцаря и подержите мою лошадь, пока я не пришлю какого-нибудь не столь высокородного сквайра избавить вас от этой неприятной обязанности.

Она бросила мне поводья, точно мы были знакомы с детства, выпрыгнула из седла, побежала через весь двор и скрылась в боковую дверь. Я глядел ей вслед, плененный ее красотой и пораженный свободой обращения, тем более удивительной, что в ту пору правила учтивости, диктуемые нам двором великого монарха Людовика XIV, предписывали прекрасному полу крайне строгое соблюдение этикета. Она оставила меня в довольно неловком положении: я оказался посреди двора старого замка верхом на лошади и держа другую в поводу.

Здание не представляло большого интереса для постороннего наблюдателя, если бы даже я и был расположен внимательно его осматривать; четыре его фасада были различны по архитектуре и своими решетчатыми окнами с каменными наличниками, своими выступающими башенками и массивными архитравами напоминали внутренний вид монастыря или какого-нибудь старого и не слишком блистательного оксфордского колледжа.

Я попробовал вызвать слугу, но долгое время никто не являлся, и это казалось тем более досадным, что я был явно предметом любопытства нескольких слуг и служанок, которые выглядывали из всех окон, – высунут голову и тотчас втянут назад, точно кролики в садке, прежде чем я успевал обратиться непосредственно к кому-либо из них. Но вот наконец вернулись егеря с собаками, и это меня выручило: я, хоть и не без труда, заставил все же одного олуха принять лошадей, а другого бестолкового парня – проводить меня в апартаменты сэра Гилдебранда. Эту услугу он оказал мне с грацией и готовностью крестьянина, принужденного выполнять роль проводника при отряде вражеской разведки; подобным же образом и я вынужден был следить в оба, чтоб он не сбежал, бросив меня в лабиринте низких сводчатых коридоров, которые вели в Каменный зал, где мне суждено было предстать пред моим дядей.

Наконец мы добрались до длинной комнаты с каменным полом и сводчатым потолком, посреди которой стоял ряд уже накрытых к обеду дубовых столов, таких тяжелых, что не сдвинуть с места. Этот почтенный зал, видевший пиршества нескольких поколений Осбалдистонов, свидетельствовал также и об их охотничьих подвигах. Большие олени рога – быть может, трофеи богатырей «Чеви Чейс» – висели по стенам, а между ними – чучела барсуков, выдр, куниц и других зверей. Среди старых, разбитых доспехов, служивших, возможно, в боях с шотландцами, находились более ценимые здесь орудия – самострелы, ружья всех систем и конструкций, сети, лески, гарпуны, рогатины и множество других хитроумных приспособлений для поимки или убийства дичи.

С немногих старых картин, побуревших от дыма, забрызганных мартовским пивом, смотрели рыцари и дамы, в свое время, несомненно, пользовавшиеся славой и почетом: бородатые рыцари грозно хмурились из-под огромных париков; дамы деланно улыбались, любуясь розой, которую небрежно держали в руке.

Только что успел я оглядеться в этой обстановке, как в зал с шумом и гомоном ввалились человек двенадцать слуг в синих ливреях; они как будто больше старались наставлять друг друга, чем выполнять свои обязанности. Одни подкидывали дров в огонь, который ревел, полыхал и вздымал клубы дыма в огромной печи с такой большой топкой, что под ее просторным сводом примостилась каменная скамья, а над нею лепились, наподобие доски камина, тяжелые архитектурные украшения: геральдические чудовища, вызванные к жизни резцом какого-то нортумберлендского ваятеля, щерились и выгибали спины в красном песчанике, отполированном дымом столетий. Другие из этих старозаветных прислужников тащили громадные дымящиеся блюда, на которых горой лежали сытные кушанья; третьи несли бокалы, графины, бутылки, даже бочонки с напитками. Все они топотали, спотыкались друг о друга, сновали, толкались, падали, точно норовили сделать с наибольшей суетой

как можно меньше дела. Когда наконец после премногих усилий обед был подан, «нестройный глас людей и псов», шелканье арапников (долженствовавшее утратить последних), громкий говор, шаги, отбиваемые тяжелыми сапогами на толстых каблуках, громоподобные, как поступь статуи в пьесе «Festin de Pierre»,<sup>30</sup> возвестили о прибытии тех, ради кого совершены были приготовления. С наступлением критической минуты суматоха среди слуг не только не уменьшилась, но еще увеличилась – одни поторапливали, другие кричали, что надо подождать; те увещевали расступиться и очистить дорогу сэру Гилдебранду и молодым сквайрам, эти, напротив, звали стать цепью вокруг стола и загородить дорогу; те орали, что нужно открыть, эти – что лучше закрыть двустворчатую дверь, соединявшую зал, как я узнал позднее, с соседним помещением – чем-то вроде галереи, отделанной черной панелью.

Дверь наконец распахнулась, и в зал ворвались псы и люди – восемь гончих, капеллан, деревенский лекарь, шесть моих двоюродных братьев и мой дядя.

---

<sup>30</sup> «Каменный пир» (франц.).

## Глава VI

*Идут, идут! Трясется свод  
От грома голосов. И вот,  
Обличьем многообразны,  
В кирасах разных, в шлемах разных,  
Шагают, полные гордыни и соблазна*

### Пенроуз

Если сэр Гилдебранд Осбалдистон не спешил приветствовать своего племянника, о приезде которого его, несомненно, давно оповестили, он мог сослаться в свое оправдание на важные причины.

– Я бы вышел к тебе раньше, дружок, – воскликнул он, сердечно со мной поздоровавшись и крепко пожав мне руку, – но должен был сперва присмотреть, как загоняют собак. Добро пожаловать в Осбалдистон-холл! Знакомься со своими двоюродными братьями: это – Перси, это – Торни, это – Джон, а это – Дик, Уилфред и... стой, где же Рэшли? Ага, вот и он! Отодвинь-ка, Торни, свое длинное туловище и дай поглядеть на брата. Изволь – твой двоюродный брат Рэшли. Итак, твой отец вспомнил наконец о старом замке и о старом сэре Гилдебранде. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Добро пожаловать, дружок, вот и все... Но где же моя маленькая Ди? Ага, вот она идет. Это моя племянница. Ди – дочь моего шурина, самая красивая девушка у нас на севере: кого ни взять, с нею здесь ни одна не сравнится. Ну, а теперь за стол, пока не остыло жаркое.

Чтобы составить представление о лице, произнесшем эту речь, вы должны вообразить себе, мой милый Трешем, человека лет шестидесяти, в охотничьем кафтане, некогда богато расшитом, но утратившем свой блеск в ноябрьских и декабрьских бурях. Сэр Гилдебранд, несмотря на резкость его теперешних манер, вращался в былые годы при дворе и жил в королевском лагере; до революции он занимал высокую должность при армии, стоявшей под Хаунслоу-Хисом, а затем, очевидно, как католик, получил от несчастного, окруженного дурными советниками Иакова II право именоваться «сэром». Но мечты сэра Гилдебранда о дальнейшем положении, если и были они у него, угасли при перевороте, свергнувшем его покровителя с престола, и с той поры он жил уединенной жизнью в родовом поместье. При своем деревенском облике сэр Гилдебранд во многом сохранил черты джентльмена, и среди своих сыновей он выделялся, как обломок коринфской колонны – пусть обитой и замшелой – среди нетесаных каменных глыб Стонхенджа или другого какого-нибудь друидического храма. Сыновья и впрямь похожи были на тяжелые, нетесаные глыбы. Высокие, крепкие, благообразные, все пятеро старших, казалось, были лишены как Прометеевской искры ума, так и внешнего изящества и лоска, которые у воспитанного человека скрадывают иногда недостаток умственного развития. Казалось, самыми ценными их нравственными качествами были благодушие и довольство своей жизнью, отражавшиеся в их тяжелых чертах, и все честолюбие их было направлено к утверждению своей славы искусных звероловов. Внешним видом своим силач Персиваль, силач Торнклиф, силач Джон, Ричард и Уилфред Осбалдистоны так же мало рознились между собою, как мало рознятся у поэта силач Гиас и силач Клоант.

Зато, создавая Рэшли Осбалдистона, госпожа Природа пожелала, видно, вознаградить себя за такое однообразие, столь не свойственное ее творениям: лицом и манерами, а также, как я узнал впоследствии, характером и дарованиями он был разительно несхож не только со своими братьями, но и с большинством людей, каких знал я до той поры. Если Перси,

Торни и компания поочередно кивали головой, ухмылялись и выдвигали скорее плечо, чем руку, по мере того как отец представлял их новому родственнику, – Рэшли выступил вперед и приветствовал мое прибытие в старый замок Осбалдистонов со всей учтивостью светского человека. Внешность его сама по себе отнюдь не располагала в его пользу. Он был мал ростом, тогда как братья его казались потомками Енака, и в то время как те отличались редкой статностью, Рэшли при большой физической силе был кособок, голова сидела у него на короткой бычьей шее, и вследствие повреждения, полученного в раннем детстве, в его походке чувствовалась неправильность, столь похожая на хромоту, что это, как многие утверждали, служило прямым препятствием к его посвящению в сан: римско-католическая церковь, как известно, не допускает в ряды своего духовенства людей, страдающих телесными недостатками. Другие, однако, приписывали этот недостаток просто плохой выправке и утверждали, что он не может помешать младшему Осбалдистону сделаться священником.

Лицо Рэшли было таково, что, раз его увидев, вы напрасно старались бы его забыть, – оно врезалось в память, пробуждая мучительное любопытство, хотя и вызывало в вас неприязнь и даже отвращение. Это впечатление, очень сильное, зависело, если разобраться, не от безобразия его лица – черты его, хоть и неправильные, были нисколько не грубы, а проныцательные темные глаза под косматыми бровями и вовсе не позволяли назвать это лицо просто некрасивым, – но в глазах его таилось выражение хитрости и коварства, а при случае и злобы, умеряемой осторожностью, злобы, которую природа сделала явной для каждого рядового физиономиста, может быть, с тем же намерением, с каким надела она гремучие кольца на хвост ядовитой змеи. Как бы в вознаграждение за такую невыгодную внешность Рэшли Осбалдистон был наделен самым мягким голосом, самым звучным, сочным и богатым, какой мне доводилось слышать, и подлинным даром слова, чтобы этот тонкий инструмент не пропадал напрасно. Едва успел Рэшли договорить первую фразу приветствия, как я уже мысленно согласился с мисс Вернон, что мой новый родственник мгновенно покорила бы любую женщину, если бы она могла судить о нем только при посредстве ушей. Он хотел уже сесть со мною рядом за стол, но мисс Вернон, которая, как единственная женщина в семье, полновластно распоряжалась в таких делах, поспешила посадить меня между собою и Торнклифом; а я, понятно, не стал возражать против этого приятного соседства.

– Мне нужно с вами поговорить, – сказала она, – и я нарочно посадила между вами и Рэшли честного Торни. Он послужит

Периной меж стеною замка  
И огнедышащим ядром,

покуда я – первая, с кем вы познакомились в этой блестящей умом семье, – расспрошу вас, как мы вам понравились.

– Очень затруднительный вопрос, мисс Вернон, если принять в соображение, как мало времени провел я в Осбалдистон-холле.

– О, философия нашей семьи вся как на ладони. Есть, правда, небольшие оттенки, отличающие ту или другую особь (так, мне кажется, называют это натуралисты?), но уловить их может только глаз тонкого наблюдателя; зато вид можно распознать и охарактеризовать сразу же.

– Если так, пять старших моих кузенов получают, я полагаю, почти одинаковую характеристику.

– Да, каждый из них представляет собой счастливое сочетание пьяницы, собачника, задиры, лошадирика и дурака. Но как нельзя, говорят, найти на дереве два в точности схожих листка, так и здесь у каждого из них эти счастливые свойства смешаны в несколько иной пропорции, доставляя приятное разнообразие для тех, кто любит изучать характеры.



– Сделайте милость, мисс Вернон, дайте мне хотя бы набросок.

– Вы получите сейчас семейный портрет в полном объеме – так легко сделать это одолжение, что отказать в нем невозможно. В Перси, старшем сыне и наследнике, больше от пьяницы, нежели от собачника, задиры, лошаdnика и дурака. Мой милейший Торни более задира, нежели пьяница, собачник, лошаdnик и дурак. Джон, который семь дней в неделю ночует в горах, тот прежде всего собачник. Лошаdnик ярче всего представлен в Дике, который готов лететь за двести миль, не слезая с седла, чтобы поспеть на скачки, где его облапошит каждый кому не лень. В Уилфреде же глупость настолько преобладает над всеми прочими качествами, что его можно назвать просто дураком.

– Недурная коллекция, мисс Вернон, и представленные в ней разновидности принадлежат, в общем, к весьма любопытному виду. Но разве на вашем холсте не найдется места для сэра Гилдебранда?

– Дядю я люблю, – был ответ. – Я в долгу перед ним, он делал мне добро (или думал, что делает), и я предоставлю вам самому написать его портрет, когда вы ближе его узнаете.

«Прекрасно, – подумал я про себя, – рад, что она проявила все-таки хоть некоторую снисходительность. Кто ожидал бы такой злой сатиры от такого юного и такого необыкновенно красивого создания!»

– Вы думаете обо мне, – сказала она и подняла на меня темные глаза, словно желала проникнуть взором в мою душу.

– Да, я думал о вас, – отвечал я, несколько смущенный прямоотой ее вопроса; и затем, стараясь превратить в комплимент свое откровенное признание, добавил: – Как мог я думать о ком-нибудь другом, имея счастье сидеть рядом с вами?

Мисс Вернон улыбнулась с гордым высокомерием, какого никогда не встречал я на таком прелестном лице.

– Должна теперь же вас предупредить, мистер Осбалдистон, что на меня напрасно тратить комплименты, а потому не швыряйтесь учтивыми словами, – у изящных джентльменов, путешествующих в этой стране, они заменяют погремушки, бусы и браслеты, какими мореплаватели задабривают диких обитателей новонайденных земель. Не истощайте запасов вашего товара – в Нортумберленде вы найдете туземцев, которых ваши безделушки расположат в вашу пользу; на меня же вы их потратите даром, так как я случайно знаю их подлинную цену.

Я в смущении молчал.

– Вы напомнили мне сейчас, – продолжала молодая леди, вернувшись к прежнему живому и равнодушному тону, – того человека из волшебной сказки, который принес на рынок деньги, а они у него на глазах обратились в угольки. Одним злосчастным замечанием я обесценила и уничтожила весь запас ваших любезностей. Но ничего, не горюйте: если я не обманываюсь на ваш счет, мистер Осбалдистон, вы умеете говорить вещи поинтереснее, чем эти fadeurs,<sup>31</sup> которые каждый джентльмен с тупеем на голове считает себя обязанным преподносить несчастной девице только потому, что она одета в шелк и кружева, а он носит тончайшее, шитое золотом сукно. Ваша обычная рысь, как мог бы сказать любой из моих пяти кузенов, куда предпочтительней иноходи ваших комплиментов. Постарайтесь забыть, что я женщина, зовите меня, если вам угодно, Томом Вернон, но говорите со мной как с другом и товарищем; вы представить себе не можете, как я вас тогда люблю.

– В самом деле? Большой соблазн! – отвечал я.

– Опять! – остановила меня мисс Вернон и предостерегающе подняла палец. – Вам уже сказано, что я не потерплю и намека на комплимент. Выпейте за здоровье моего дяди,

---

<sup>31</sup> пошлости (франц.).

который идет на вас, как он выражается, с полным кубком, а затем я скажу вам, что вы думаете обо мне.

Я, как почтительный племянник, осушил за здоровье дяди большой бокал; последовали новые здравицы, и разговор за столом стал более общим. Но вскоре он сменился непрерывным и деловитым лязгом ножей и вилок. А так как кузен Торнклиф, мой сосед справа, и кузен Дикон, сидевший по левую руку мисс Вернон, были увлечены говядиной, которую горой накладывали на свои тарелки, они, как два бастиона, отделяли нас от остального общества и обеспечивали нам спокойный *tete-a-tete*.<sup>32</sup>

– А теперь, – сказал я, – разрешите мне спросить вас откровенно, мисс Вернон: как вы полагаете, что я думаю о вас? Я сам сказал бы вам, но вы запретили мне возносить вам хвалы.

– Я не нуждаюсь в вашей помощи. Моего ясновидения достаточно на то, чтобы проникнуть в ваши мысли. Вам ни к чему раскрывать передо мною сердце: я и в закрытом могу читать. Вы меня считаете странной, дерзкой девчонкой, полукокеткой-полусорванцом, девушкой, которая хочет привлечь внимание вольностью манер и громким разговором, понятия не имея о том, что «Зритель» называет нежной прелестью слабого пола. И, может быть, вы думаете, что я преследую особую цель поразить вас и увлечь. Мне не хотелось бы уязвить ваше самолюбие, но, думая так, вы бы очень обманулись. То доверие, которое я вам оказала, я так же охотно оказала бы и вашему отцу, если бы считала, что он может меня понять. В этом счастливом семействе я так же лишена понимающих слушателей, как был лишен их Санчо в Сьерра-Морене, и когда представляется случай, я, хоть умри, не могу не говорить. Уверю вас, вы не услышали бы от меня ни полслова из этих смешных признаний, если бы меня хоть сколько-нибудь заботило, как они будут приняты.

– Очень жестоко, мисс Вернон, что вы, делая мне ценные сообщения, не хотите проявить и тени благосклонности; но я рад, что вы все-таки уделяете мне какое-то внимание. Однако вы не включили в ваш семейный портрет мистера Рэшли Осбалдистона.

Мне показалось, мисс Вернон вся съежилась при этом замечании. Сильно понизив голос, она поспешила ответить:

– Ни слова о Рэшли! Когда он чем-либо заинтересован, слух его становится так остер, что звуки достигают его ушей сквозь тушу Торнклифа, даже если она, как сейчас, плотно начинена говядиной, паштетом из оленины и пудингом.

– Учту, – отвечал я. – Но, перед тем как задать свой вопрос, я заглянул через разделяющую нас живую ширму и удостоверился, что кресло мистера Рэшли не занято – он вышел из-за стола.

– На вашем месте я не была бы в этом так уверена, – ответила мисс Вернон. – Мой вам совет: когда вы захотите говорить о Рэшли, поднимитесь на Оттерскоп, откуда видно на двадцать миль вокруг, станьте на самой вершине и говорите шепотом – и все же не будьте слишком уверены, что перелетная птица не донесет Рэшли ваших слов. Он четыре года был моим наставником, мы устали друг от друга и оба искренне радуемся нашей близкой разлуке.

– Как, мистер Рэшли оставляет Осбалдистон-холл?

– Да, через несколько дней. Разве вам не известно? Значит, ваш отец лучше умеет хранить тайну своих решений, чем сэр Гилдебранд. Когда дяде сообщили, что вы на некоторое время пожелаете к нему в гости и что ваш отец желает предоставить одному из своих многообещающих племянников выгодное место в своей конторе, свободное в силу вашего упрямства, мистер Фрэнсис, наш славный рыцарь, созвал семейный совет в полном составе, включая дворецкого, ключницу и псая. Это почтенное собрание пэров и придворных слушателей дома Осбалдистонов созвано было, как вы понимаете, не для выбора вашего заместителя, потому что один только Рэшли знает арифметику в большем объеме, чем это необ-

---

<sup>32</sup> разговор или свидание с глазу на глаз (франц.).

ходимо для расчета ставок в петушином бою, так что никого другого из братьев нельзя было выдвинуть в кандидаты на предложенное место. Но требовалась торжественная санкция для такой перемены в судьбе Рэшли, которому вместо полуголодной жизни католического священника предлагают карьеру богатого банкира. Однако не так-то легко собрание дало свое согласие на этот унижительный для дворянина акт.

– Вполне представляю, какие тут возникли сомнения! Но что помогло преодолеть их?

– Я думаю, общее желание спровадить Рэшли подальше, – ответила мисс Вернон. – Хотя и младший в семье, он как-то умудрился взять главенство над всеми остальными, и каждый тяготится своим подчиненным положением, но не может сбросить его. Если кто попыруется воспротивиться Рэшли, то и года не пройдет, как он непременно в этом раскается; а если вы окажете ему важную услугу, вам придется раскаться вдвойне.

– В таком случае, – сказал я с улыбкой, – мне нужно быть начеку: ведь я хоть и ненамеренно, но все же послужил причиной перемены в его судьбе.

– Да! И все равно, сочтет ли он эту перемену выгодной для себя или невыгодной, он вам ее не простит... Но подошел черед сыра, редиски и тостов за церковь и за короля – намек, что капелланам и дамам пора уходить; и я, единственная представительница дамского сословия в Осбалдистон-холле, спешу удалиться.

С этими словами мисс Вернон исчезла, оставив меня в удивлении от ее разговора, в котором так чудесно сочетались проницательность, смелость и откровенность. Я не способен дать вам хотя бы слабое представление о ее манере говорить, как ни старался воспроизвести здесь ее слова настолько точно, насколько позволяет мне память. На самом деле в ней чувствовались ненаигранная простота в соединении с врожденной проницательностью и дерзкой прямоотой, и все это смягчала и делала привлекательным игра лица, самого очаровательного, какое доводилось мне встречать. Разумеется, ее свободное обращение должно было мне показаться странным и необычным, но не следует думать, что молодой человек двадцати двух лет способен был бы осудить красивую восемнадцатилетнюю девушку за то, что она не держит его на почтительном расстоянии. Напротив, я был обрадован и польщен доверием мисс Вернон, несмотря на ее заявление, что она оказала бы такое же доверие первому слушателю, способному ее понять. Возрасту моему было свойственно самомнение, а долгая жизнь во Франции несколько его не ослабила; поэтому я воображал, что мои изящные манеры и красивая наружность (я не сомневался, что наделен ими) должны были завоевывать расположение юной красавицы. Таким образом, самое мое тщеславие говорило в пользу мисс Вернон, и я никак не мог сурово осудить ее за откровенность, которую, как полагал я, до некоторой степени оправдывали мои собственные достоинства; а пристрастность суждения, внушаемая красотой девушки и необычным ее положением, еще возрастала, когда я думал о ее проницательности в выборе друга.

Едва мисс Вернон оставила зал, бутылка стала беспрерывно переходить, или, вернее, перелетать, из рук в руки. Воспитание за границей внушило мне отвращение к невоздержанности – пороку, слишком распространенному среди моих соотечественников в те времена, как и теперь. Разговоры, которыми приправляются такие оргии, были мне также не по вкусу, а то, что собутыльники состояли между собой в родстве, могло лишь усугубить отвращение. Поэтому я почел за благо при первом же удобном случае выйти в боковую дверь, еще не зная, куда она ведет: мне не хотелось быть свидетелем того, как отец и сыновья равно предаются постыдному невоздержанию и ведут те же грубые и отвратительные речи. За мной, разумеется, тотчас погнались, чтобы вернуть меня силой, как дезертира из храма Бахуса. Услышав рев, и гиканье, и топот тяжелых сапог моих преследователей по винтовой лестнице, по которой я спускался, я понял, что меня перехватят, если я не выберусь наружу. Поэтому я распахнул на лестнице окно, выходившее в старозаветный сад, и, так как оно оказалось всего в шести футах над землей, выпрыгнул без колебания и вскоре услышал уже далеко позади

крики моих растерявшихся преследователей: «Го-го-го! Да куда же он скрылся?» Я пробежал одну аллею, быстро прошел по другой и, наконец, убедившись, что опасность преследования миновала, умерил шаг и стал спокойно прогуливаться на свежем воздухе, вдвойне благодатном после выпитого вина и моего стремительного отступления.

Прохаживаясь, я набрел на садовника, усердно исполнявшего свою вечернюю работу, и, остановившись поглядеть, что он делает, обратился к нему с приветом:

– Добрый вечер, приятель.

– Добрый вечер, добрый вечер, – отозвался садовник, не поднимая глаз, и я по выговору сразу узнал в нем шотландца.

– Прекрасная погода для вашей работы, приятель.

– Жаловаться особенно не приходится, – ответил он с той сдержанной похвалой, с какой обычно садовники и землепашцы отзываются о самой хорошей погоде. Подняв затем голову, чтобы видеть, кто с ним говорит, он почтительно дотронулся до своей шотландской шапочки и сказал: – Господи помилуй, глазам своим не поверишь, как увидишь в нашем саду в такую позднюю пору шитый золотом джейстикор!<sup>33</sup>

– Шитый золотом... как вы сказали, дружок?

– Джейстикор. Это значит, кафтанчик вроде вашего – в обтяжку. У здешних господ другой обычай – им бы скорей распоясаться, чтобы дать побольше места говядине да жирным пудингам, ну и, разумеется, вину: так тут принято вместо вечернего чтения – по эту сторону границы.

– В вашей-то стране не повеселишься, приятель, – отвечал я, – нет у вас изобилия, нет и соблазна засиживаться за столом.

– Эх, сэр, не знаете вы Шотландии! За продовольствием дело б не стало – у нас в досталь самой лучшей рыбы, и мяса, и птицы, уж не говоря о луке, редисе, репе и прочих овощах. Но мы блюдем меру и обычай, мы не позволим себе обжираться; а здесь что слуги, что господа – знай набивают брюхо с утра до ночи. Даже в постные дни... Они это называют поститься! Возами везут им по сухопутью морскую рыбу из Хартлпула, из Сандерленда, да прихватят мимоездом форелей, лососины, семги и всего прочего, – самый пост обращается в излишество и мерзость. А все эти гнусные мессы да заутрени – сколько ввели они во грех несчастных обманутых душ!.. Но мне не след так об этом говорить – ведь и ваша честь, надо думать, из католиков, как и все они тут?

– Ошибаетесь, друг мой, я воспитан в пресвитерианской вере, точнее сказать – я диссидент.

– Ежели так, позвольте протянуть вашей чести руку, как собрату, – торжественно проговорил садовник, и лицо его озарилось радостью, какую только могли выразить его жесткие черты. И, как будто желая на деле доказать мне свое благоволение, он извлек из кармана громадную роговую табакерку – муль, как он ее называл, – и с широкой дружеской улыбкой предложил мне понюшку.

Поблагодарив за любезность, я спросил, давно ли он служит в Осбалдистон-холле.

– Я сражаюсь с дикими зверями Эфеса, – ответил он, подняв глаза на замок, – вот уже добрых двадцать четыре года; это верно, как то, что меня зовут Эндрю Ферсервис.<sup>34</sup>

– Но, любезнейший Эндрю Ферсервис, если для вашей веры и для вашей воздержанности так оскорбительны обычаи католической церкви и южного гостеприимства, вы, кажется мне, подвергали себя все эти годы напрасным терзаниям: разве вы не могли бы найти службу где-нибудь, где меньше едят и где исповедуют более правильную веру? Вы, я уверен, искусны в своем деле и легко нашли бы для себя более подходящее место.

---

<sup>33</sup> Вероятно, от французского *Juste-au-corps*. (Прим. автора.)

<sup>34</sup> *Fair service* – честная служба (англ.).

– Не к лицу мне говорить о своем уменье, – сказал Эндрю, с явным самодовольством кинув взгляд вокруг, – но, спору нет, в садоводстве я кое-что смыслю, раз я вырос в приходе Дрипдейли, где выращивают под стеклом брюссельскую капусту и в марте месяце варят суп из парниковой крапивы. По правде говоря, я двадцать с лишним лет в начале каждого месяца собираюсь уходить, но как подходит срок, смотришь – надо что-нибудь сеять, либо косить, либо убирать, и хочется самому приглядеть за посевом, за косьбой, за уборкой; не заметишь, как год пройдет, – и так вот остаешься из года в год на службе. Я бы сказал наверняка, что уйду на Сретенье, но я так же твердо говорю это вот уже двадцать четыре года, а сам и до сих пор копаю здесь землю. А кроме того, уж признаюсь по совести вашей чести: ни разу что-то не предложили бедному Эндрю лучшего места. Но я был бы очень обязан вашей чести, если бы вы определили меня куда-нибудь, где бы можно было послушать хорошую проповедь и где бы мне дали домик, лужок для коровы, да клочок земли под огород, да жалованья положили фунтов десять, не меньше, да где бы не наезжали из города разные мадамы считать поштучно каждое яблоко...

– Bravo, Эндрю! Вы, я вижу, ищете покровительства, но притом не упускаете случая набить себе цену.

– А чего бы ради я стал упускать случай? – возразил Эндрю. – Ведь прождешь до могилы, пока другие оценят тебя по заслугам.

– И вы, я заметил, не дружите с дамами?

– Признаться, не дружу. Садовники с ними искони не в ладу, и я тоже – как и самый первый садовник. С ними нам беда: лето ли, зима ли – подавай им во всякое время года абрикосы, груши, сливы; но у нас тут, на мое счастье, нет ни одного осколка от лишнего ребра, никого, кроме старой ключницы Марты, а ей много ли надо? Только бы не гнали из малинника ребятешек ее сестры, когда они приходят к старухе попить чаю на праздник, да изредка спросит печеных яблок себе на ужин.

– Вы забыли вашу молодую госпожу.

– Какую такую госпожу я позабыл? Не пойму.

– Молодую госпожу, мисс Вернон.

– Ах, эту девочку Вернон! Надо мной, сударь, она не госпожа. Хорошо, кабы она была госпожа над самой собой. Лучше б ей как можно дольше не быть ни над кем госпожой. Уж такая непутевая!

– В самом деле? – сказал я, заинтересованный живее, чем хотел признаться самому себе или показать собеседнику. – Вы, Эндрю, знаете, видно, все тайны дома.

– Если и знаю, то умею хранить их, – сказал Эндрю. – Они не бунтуют у меня в животе, как пивные дрожжи в бочке, будьте спокойны. Мисс Ди, она... Но что мне до того? Не моя забота! – И он с напускным усердием принялся копать землю.

– Что вы хотели сказать о мисс Вернон, Эндрю? Я друг семьи и хотел бы знать.

– С ней, я боюсь, неладно, – сказал Эндрю и, сощурив один глаз, покачал головой с важным и таинственным видом. – Водится за нею кое-что. Понимаете, ваша честь?

– Признаться, не совсем, – отвечал я, – но я попросил бы вас, Эндрю, объяснить понятней.

С этим словом я сунул в заскорузлую руку садовника крону.

Почувствовав прикосновение серебра, Эндрю хмуро ухмыльнулся и, слегка кивнув головой, опустил монету в карман своих штанов; потом, отлично понимая, что деньги даны не даром, он выпрямился, оперся обеими руками на лопату и выразил на лице своем торжественность, точно собирался сообщить нечто очень важное.

– В таком случае, скажу вам, молодой джентльмен, раз уж вам так нужно это знать, что мисс Вернон...

Не договорив, он так втянул свои впалые щеки, что его скулы и длинный подбородок приобрели сходство со щипцами для орехов, еще раз подмигнул, насупился, покачал головой – и, видимо, решил, что его физиономия дополнила то, чего не досказал язык.

– Боже праведный, – проговорил я, – такая молодая, такая красивая и уже погибла!

– Поистине так. Она, можно сказать, погибла телом и душой; мало того, что она папистка, она, по-моему, еще и...

Но осторожность северянина взяла верх, и он опять замолчал.

– Кто же, сэр? – проговорил я строго. – Вы должны объяснить мне все ясно и просто. Я настаиваю.

– Самая ярая якобитка во всем графстве.

– Фью!.. Якобитка? Только и всего!

Услышав, как легко я отнесся к его сообщению, Эндрю посмотрел на меня несколько удивленно, и, пробормотав: «Как хотите! Хуже этого я ничего за девчонкой не знаю!» – он снова взялся за свою лопату, подобно королю вандалов в последнем романе Мармонтеля.

## Глава VII

*Бардольф. Шериф стоит у двери, и с ним преогромная стража.  
«Генрих IV», ч. I*

Не без труда отыскал я отведенную мне комнату, и, обеспечив себе доброе расположение и внимание со стороны слуг моего дяди – пользуясь для этого самыми для них убедительными средствами, – я уединился до конца вечера, полагая, что мои новые родственники вряд ли могут составить подходящее общество для трезвого человека, если судить по тому состоянию, в каком я их оставил, и по отдаленному шуму, все еще доносившемуся из Каменного зала.

Чего хотел отец, отправляя меня в эту странную семью? – таков был мой первый и вполне естественный вопрос. Дядя, очевидно, принял меня как человека, приехавшего к нему погостить на неопределенный срок; а он в своем простодушном гостеприимстве, подобно королю Галю, не глядел, сколько людей кормится за его счет. Но было ясно, что мое присутствие или отсутствие имело в глазах его так же мало значения, как появление и уход любого из лакеев. Мои двоюродные братья были просто бездельники, в обществе которых я забыл бы, если б захотел, приобретенные до сих пор пристойные манеры и все свои светские навыки, но не смог бы получить взамен никаких познаний, кроме умения выгонять глистов у собак, продевать заволоку да травить лисиц. Я мог представить себе только одну причину, казавшуюся мне правдоподобной: отец, по-видимому, считал образ жизни, какой вели в Осбалдистон-холле, естественным и неизменным для всякого дворянина-помещика и желал дать мне случай понаблюдать эту жизнь своими глазами, полагая, что я получу отвращение к ней и примирюсь с необходимостью стать его деятельным помощником. Мое место в конторе займет тем временем Рэшли Осбалдистон. Но у отца были сотни способов предоставить ему выгодное место, как только он захотел бы избавиться от племянника. Итак, хоть меня и грызла совесть, что по моей вине Рэшли Осбалдистон, такой, каким описала его мисс Вернон, войдет в дело моего отца, а может быть, и в его доверие, однако я успокоил свои сомнения доводом, что мой отец сам себе хозяин, что он не из тех, кого легко обмануть или подчинить. Своему влиянию, и что все, что я знаю предосудительного о молодом джентльмене, внушено мне странной и взбалмошной девушкой; ее неразумная, думал я, откровенность позволяла предположить, что все свои суждения она составляла слишком поспешно и необоснованно. Затем мысли мои, естественно, обратились к самой мисс Вернон. Ее необычайная красота, ее исключительное положение в этом доме, где ей не на кого опереться и где только собственный разум руководит ею и дает ей защиту, ее живой, полный противоречий характер – все это помимо воли возбуждало любопытство и завладевало вниманием. Однако я еще не вовсе потерял голову – я понял, что соседство этой странной девушки, возможность постоянного и близкого с нею общения делали для меня Осбалдистон-холл менее скучным и тем самым более опасным. Но при всем своем благоразумии я не мог заставить себя слишком сожалеть о том, что случай подверг меня этому новому и необычному риску. С этой тревожной мыслью я справился, как справляются молодые люди со всеми трудностями такого рода: буду, решил я, очень осмотрителен, всегда настороже; в мисс Вернон я стану искать скорее товарища, нежели близкого друга, и тогда все обойдется благополучно. Додумавшись до этого, я уснул, и, конечно, мой последний помысел был о Диане Вернон.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.